



Пепел Клааса

Фрол Владимиров

Фрол Владимиров

Пепел Клааса

«Издательские решения»

2015

Владимиров Ф.

Пепел Клааса / Ф. Владимиров — «Издательские решения», 2015

Действие происходит в трех эпохах: три личности, три судьбы посредством загадочных знаков вступают в диалог, чтобы обрести себя друг в друге и в Высшем. «Пепел Клааса» — это экспериментальный роман. Он адресован немногим — тем, кто способен увидеть в художественной интуиции метод познания реальности и открыть новую главу философии — мифофизику.

© Владимиров Ф., 2015

© Издательские решения, 2015

Содержание

Экспозиция темы	6
Первый голос	6
Второй голос	20
Третий голос	42
Разработка темы	53
Первое проведение. Первый голос	53
Первое проведение. Второй голос	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Пепел Клааса

Фрол Владимиров

Только искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем.
Габриэль Лауб

© Фрол Владимиров, 2015

© Ольга Заболоцкая, дизайн обложки, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Экспозиция темы

Первый голос

Бледные лучи отвоёвывают пространство у небытия. Едва заметно ползут удушливые тени – обнажают один предмет, поглощают другой, заигрывают с победоносным светом, заманивают его в нехитрые ловушки, высмеивая претензии на ясность очертаний и неизменность форм. Ночь уходит непобеждённой. Под аккомпанемент тишины она отступает в щели дверных проемов, прячется за дверцы шкафов, пятится к зеркалу, картинам, магнитофону, прокрадывается в складки белья. Творимое пространство кажется необитаемым. И всё же, помимо паука, раскинувшего сети между люстрой и потолком, в комнате есть ещё одно живое существо.

На краю несоразмерно большой кровати, точно скелет в скифском могильнике, скрючившись, лежит человек. Через мгновение он пробудится, чтобы в очередной раз обнаружить этот порождённый светом мир.

– Не надо мне ничего... Отведите меня к маме... Я вас прошу.

Человек открывает глаза. Садится. Размётанные тяжёлым сном едко рыжие волосы его небрежно прикрывают пробор, что делит голову упрямой бороздой на две неравные доли. Скулы повторяют рельеф глазниц, сообщая облику сходство с невиданным четырёхоким насекомым. Отталкивающее подобие уравнивается тонкими очертаниями губ и ноздрей. Природа, не довольствуясь малым, поместила изваянный противоречиями череп на мощную шею, утвердительно переходящую в мускулистый торс.

Человек неподвижен. Пепельные глаза глядят окаменело. Боль заполнила всё без остатка по ту сторону взгляда – давит, подпирает, захлопывает по очереди все вызубренные за много лет лазейки.

Человек страдает. Страдает как миллионы ему подобных, вполне осознавая заурядность собственного положения. Он знает, что за стеной соседней квартиры тоже страдают. И также мучаются люди, языка которых он не знает и с которыми никогда не встретится. Ошмётки чужих судеб пронесутся мимо экранными всполохами и книжными страницами. Вот, чьи-то уши прислушиваются к бесплодной пустыне, не то, отвлекаясь от плача голодающего ребёнка, не то пытаясь поймать вдали рокот долгожданного транспорта. Вот, на оборотной стороне планеты пара глаз разглядывает ночь из окна 91-го этажа, пепел сигары сыплется на атласный галстук, золотые часы отсчитывают последние минуты бессмысленной жизни. Вот, за океаном тонкие пальцы в дешёвых кольцах истерически теребят листок с результатами медицинского анализа.

Неизбывная мука. Обезличенная боль. Наскучившее терзание миллиардов особей, которые будто для того только и просыпаются из небытия, чтобы наделить каждую крупницу страдания своим именем, лицом и биографией.

«Кто я?»

«Ты – страдание».

У этого порождённого очередным днём сгустка боли тоже есть имя. Покуда телесная оболочка свыкается с утром, заполняющим черноморский курорт солнцем, морем, пальмами, криками зазывал, плавающим мороженым, герой наш остаётся безымянным. Но вот, он окончательно пробудился. И в который раз осознал, что он не кто иной, как Эдуард Клаас.

Его считали везучим. Когда он попал в Чечню, в самое пекло, необстрелянный, воспитанный в сибирской глубинке верующей матерью, мало кто ожидал его возвращения иначе как в цинковом гробу. Эдик, которого беседам с Богом обучили раньше, чем общению с себе подобными, казался непригодным к любой форме жестокости, не только к войне. Жизненные соки, подсушенные систематической добродетелью, текли в нем несколько замедленно. Как и от большинства меннонитов, от Эдика отдавало какой-то вязкостью. Меннонит Клаас не мог позволить себе спешки ни в чем – его мозг был занят слишком многими предметами, ибо, в отличие от «неверующих», он не имел права просто жить. Меннониту надлежало жить «в духе и истине». Духовность же требует непрестанной тренировки воли, воспитания чувства равновесия. Ни травинки в огороде, ни пылинки на обуви, ни пятнышка на оконном стекле – таков начальный курс подвижничества, преподанный рыжеволосому парнишке в общине голландских немцев, чьих предков завела на Обь жажда пахотной земли и религиозной свободы. Высшее духовное мастерство заключалось в том, чтобы не возгордиться успехами и не привязаться к плодам труда своего. Подобно канатоходцу, Клаас балансировал на тонкой проволоке веры, натянутой между рождением и смертью. Пройти по жизни, не потеряв из виду Христа – в этом видел меннонит наивысший и единственный смысл. Оттого Эдик воспринимал видимый мир как стекло витрины, его пытливый ум силился проникнуть за общедоступную поверхность бытовой действительности. Клаас всматривался в людей бережным взглядом медработника, отыскивающего подходящую для инъекции вену. Красоту подпускал к себе малыми порциями, процеживая густое сусло впечатлений через сито рассудка. Пение птиц в лесу, ледоход на реке прикасались к душе его, но не овладевали ею всецело. Никогда творение не заслоняло собой Творца.

«Взгляните на птиц небесных. Посмотрите на полевые лилии!» – звало Евангелие. Но меннонит, понимавший Писание с полуслова, знал, что созерцать красоту следует не ради неё самой, то есть удовольствия чувственного, но единственно ради научения истине. Он умел отличить прекрасное от обольстительного и считал прекрасным лишь достойное именоваться таковым. Потому-то верный ученик Христа и воскресной школы Эдуард Клаас встревожился не на шутку, испытав прилив восторга при виде фольксвагена, который пастор Денлингер пригнал из Германии. Таких машин ни то, что в Сибири, в самой ГДР по пальцам пересчитать можно. Когда синий с серебристым отливом борт величественно проплывал мимо ворот Клаасов, Эдик терял самообладание. Зачарованный чудным зрелищем, выбежал он к ограде и, вытянув шею, до тех пор провожал взглядом роскошный лайнер, покуда тот, сверкнув на солнце нездешним светом, не скрывался в конце длинной и прямой, как путь в царствие небесное, улицы меннонитского поселка. В такие минуты Эдик неприятно напоминал себе птенца, мимо раскрытого клювика которого пронесли червячка.

Клаас поспешил открыться духовному наставнику в надежде на отеческое увещание и не был обманут в своём уповании. Пастор Денлингер высказался в том смысле, что чуткая совесть свидетельствует о духовном возрастании христианина. Ученик Христа, рассматривающий себя в зеркале слова Божьего, обнаруживает всё больше недостатков, но именно ощущение собственной скверны и свидетельствует о близости к Спасителю. Облегчив совесть доверительной беседой с пастором, юный меннонит принялся с новым рвением полоть сорняки в огороде и грехи в душе, сдабривая качественную работу надлежащей скромностью. Вскоре пастор Денлингер сменил подержанный фольксваген на подержанный мерседес.

Амалия Вольдемаровна, урожденная Вильямс, занималась воспитанием единородного с той самозабвенной педантичностью, с какой обыкновенно выводила рыбные пятна с белоснежного передника. Формирование ребёнка протекало безупречно, однако податливость характера

тревожила её. Амалия ждала. Ждала, когда Оскар Клаас, чья кровь текла в жилах её Эдены, напомнит о себе.

Амалию предупреждали, да и сама она, уже не совсем юная, но неискушенная в отношениях с мужчинами девушка понимала, что увлечение Оскара Клааса грозит исказить её дотеле безукоризненную биографию. Ведь ничего хорошего нельзя было ожидать от человека, который по большей части обретался в далёких городах в вечной погоне за заработком. Оскар бывал в родном хуторе наездами, и в нём давно видели чужака. По воскресеньям он безучастно сидел на богослужбных собраниях, думал о чём-то своём, мусоля в руках пожелтевшую готическую Библию, раскрытую вовсе не на том стихе, который комментировал пастор Денлингер. Лёгкая усмешка змеилась по губам Оскара в самые возвышенные минуты проповеди, от попавшего на скулу солнечного зайчика рыжая щетина его вспыхивала недобрыми искрами.

Амалия всё понимала и страшилась, и береглась. Но как было уберечься, когда он приблизился – такой наглый, такой всеведущий? Могла дать пощёчину, могла обругать, могла просто развернуться и уйти... Но вместо этого стояла в оцепенении и с отстранённым любопытством чувствовала, как жёсткие глаза и пальцы ощупывают её неопытное тело.

Их обвенчали сразу же, так что Эдик появился на свет, не нарушив сроков, установленных Творцом при начале мира и подтвержденных в XVI веке от рождества Христова отцом-основателем меннонитской общины святых – Менно Симонсом.

Когда Эдику исполнился год, Оскар ушёл из дома. Навсегда. Его извергли из церкви, родня тоже отвернулась от него. Отец, Генрих Яковлевич, спокойно сказал: «У меня больше нет сына». И, помолчав немного, добавил: «У меня есть дочь и внук». До самой смерти он ни разу не сделал попытки увидеться с Оскаром. Но при любой возможности «дядя Генрих», как именовали его Клаасы, приезжал к Амалии в Сибирь и каждое лето забирал внука на Украину.

Миг, которого Амалия Вольдемаровна ожидала с таким страхом, наступил неожиданно: – Мам, а почему тётя Аня каждый раз просит, чтобы Иисус исправил её характер?

Амалия Вольдемаровна почувствовала всем существом, как резец её педагогического мастерства упёрся в твердую клаасовскую породу. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы спокойно домыть тарелку и ответить:

– Потому что тётя Аня знает свои слабости. Она хочет расстаться с грехами, которые тяжким бременем лежат на её душе. Ты тоже мог бы молиться, чтобы Иисус помог исправить тебе кое-что, не так ли?

– Ей не помогает, а мне поможет? – парировал юный вольнодумец. – Она же всё время об этом просит. И ничего в ней не меняется. Как сплетничала, так и сплетничает. Все молятся, молятся. А какими были, такими и остались. Почему Иисус не исправит наши недостатки, если он сам этого хочет?

– Могу сказать тебе одно: ты не найдёшь ответ ни на этот вопрос, ни на какой другой, если будешь осуждать людей и разговаривать в таком тоне.

Эдику хотелось ответить, что ни фига мол он не найдёт, даже если и не будет осуждать, однако в голосе Амалии Вольдемаровны прозвучала знакомая нотка, означавшая, что собеседник вплотную подошёл к грани дозволенного.

Амалия Вольдемаровна знала, что Эдик сказал ей далеко не всё. Материнское чутьё подсказывало, что взросление будет сложным, а тесный мирок меннонитского хутора станет для Эдика тюрьмой. Наконец, после долгих колебаний, она приняла решение, которое вызвало недоумение в общине. Амалия Вольдемаровна воспользовалась приглашением давней подруги, Маши Янсен, много лет тому назад перебравшейся в Сочи. Своим трудом и талантом

Маша выбилась в директора несмотря на сомнительную пятую графу. Честолюбивая директор Янсен, собирая в своей школе лучшие кадры, давно звала Амалию Клаас на работу.

– Ты с ума сошла, – воскликнула сестра, услышав о её намерении. – Подумай об Эдике. Не о море и солнце, а о людях, которые будут его окружать. Он же вырастет у тебя безбожником!

Покидая родной хутор, Амалия надеялась оставить сыну тёплые воспоминания о церкви. Они должны были стать ниточкой, которая приведёт его обратно к Богу. Ведь далёкое и недоступное представляется нам идеальным. Амалия увозила Эдика на юг, чтобы превратить суровую меннонитскую жизнь в поэзию.

В Сочи мать и сын стали посещать родственную меннонитам баптистскую церковь. Внешне их жизнь мало изменилась. По будням – школа, по выходным – загородные прогулки. Амалия Вольдемаровна всегда старалась выкраивать для них время, сколь бы трудно это ни было. Обязательный пункт воскресного расписания – богослужение.

Возрастной кризис нарушил идиллию, хотя, если посмотреть непредвзято, прошёл довольно сносно. Как и положено, Клааса видели несколько раз в сомнительной компании, изрядно подвыпившим, порой лицо его украшал контрастный синяк, а руки и ноги – ссадины. Временами он забывал переночевать дома, летом на пляже сигал с буны прямо у берега, предваряя опасные прыжки чрезмерно физиологичной жестикой в присутствии заезжих красоток. Издалека его было нетрудно распознать благодаря кумачовому цвету спецодежды, по которой туземцы отличали на пляже своих от «вербачей». Купальный костюм представлял собой безразмерные изрезанные ленточками семейные трусы, одевавшиеся поверх плавок.

С учителями Эдик вёл себя предельно корректно, и к вящему их удовольствию сменил «молельный дом» на библиотеки и кружки – литературные, музыкальные, спортивные. Плодами его словесных экспериментов наслаждались не только богемные старушки, но и дворовая интеллигенция. Сердца первых старшекласник Клаас покорял литературными эссе на темы вроде: «Образы немцев в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского»; у сверстников же успехом пользовалась его «Ода русскому мату», в которой Эдуард произвёл тончайший морфологический, семантический и орфоэпический анализ характерных для русской речи площадных выражений. Опираясь на многочисленные примеры, он отстаивал гипотезу, в соответствии с которой повсеместное употребление бранных идиом свидетельствует не о скудости мышления, но об избытке чувства, что роднит русскую речь, темперированную матом, с сочинением И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир». Благодаря этому сочиненьицу Иоганн Себастьян со своим клавиром стал достоянием дворовых масс, по крайней мере, той их части, которая соприкоснулась с просветительской деятельностью немецко-сибирского переселенца.

Клааса считали весельчаком, вундеркиндом, отчасти авантюристом и пошляком, но только не охотником за головами, и уж тем более никому в голову не пришло бы назвать его «патриотом». Поэтому, когда Эдик после вуза отправился добровольцем в Чечню, друзья по обоим берегам реки Сочи пришли в недоумение, не зная, что и думать.

Полтора года спустя Амалия Вольдемаровна, точно винясь, рассказывала знакомым о награждении сына медалью «За отвагу». Не поверили. Решили, что военные бюрократы перепутали Эдика с кем-то. Но через шесть месяцев он явился самолично, и на торжественном алкогольном приеме в его честь в немногих скромных выражениях подтвердил сказанное в официальном сообщении, пустив по рукам высокую государственную награду. Сержант Клаас был награждён за отвагу, проявленную при прорыве отряда из окружения чеченских боевиков. На него стали смотреть с опаской, ожидая, когда же он, страдающий «поствоенным синдромом», проявит себя в новом качестве ветерана – начнёт лезть в драку, бухать, забивать косяки, орать во сне, глядеть безумными глазами. Шли месяцы. Эдик вёл себя уравновешенно и приветливо, знакомые удивлялись его «философскому взгляду» на жизнь, эдакой флегматичной

доброжелательности ко всему и вся. Ничто, казалось, не могло его серьёзно огорчить. Правда, иногда всё же замечали тревогу, с какой поглядывал он на кусты и подворотни.

Если бы друзьям дано было заглянуть в душу опалённого войной парня, они с удивлением констатировали бы, что Эдик воспринимал чеченскую операцию как некое лабораторное занятие, понадобившиеся ему для подтверждения теории, по крупицам собранной за годы учёбы. Во время зачисток и пьянок, боёв и допросов, марш-бросков и отступлений предмет, изучению которого Эдик отдавал все свои умственные способности, предстал пред ним с чудовищной простотой и неумолимой внутренней логикой. Предметом этим была, ни много ни мало, её величество – *жизнь*.

Он медленно садится, словно преодолевая сопротивление, нащупывает рукой магнитофон и, немного помедлив, включает. Раздаётся шипение, разбавляемое отдалённым лаем собаки. Издалека доносится звук проезжающей машины. И наконец, голос:

– Зачем ты вернулся? Когда ты мне нужен был больше всего на свете, ты исчез.... Я просил тебя, умолял, ползал перед тобой на коленях, но ты всё равно ушёл.... А я ждал, стучал во все двери, надеялся, что одну из них откроешь ты.... Но тебя не было.

Внимая этому замогильному хрипу, Эдик чувствует, как всё тело его наполняется тяжестью, теряет подвижность, оплывает. Голос на пленке принадлежит ему. Он наговорил запись три дня назад и с тех пор слушает её вновь и вновь, порой дополняя рвавшимися наружу репликами. Ему требовалось выговориться, но не было никого, с кем бы он мог и хотел поделиться. Он не желает использовать людей, ибо знает, что у каждого в горле застыло то же эхо отчаяния, какое булькает в чёрном пластиковом ящичке. Ближе к концу записи слов становится всё меньше, наконец, гул проезжающих машин, крики детей и экзальтированные голоса радиорекламы окончательно заполняют звуковое пространство. Запись обрывается. По комнате ударной волной катится оставшийся нестёртым кусок песни:

Это всё, что останется после меня
Это всё, что возьму я с собой.

Словно подстреленный, Клаас падает на постель и рыдает, сотрясаясь всем телом. Щелчок. Всё стихает. Эдик чувствует удушье. Вспоминается излюбленный «опыт» Соловьёва.

Майор ФСК назвал эту пытку «Жаждой счастья». Фигурой он был заметной, пожалуй, даже уникальной. У Соловьёва «раскалывались» все, даже самые фанатичные «духи». Причем пытал майор гораздо меньше, чем другие следователи. Он всё делал в меру: позволял бить в меру, насиловать в меру, морил голодом в меру, выворачивал суставы в меру. Он никогда не кричал на «испытуемых», обращался всегда уважительно, на «Вы», и много с ними беседовал.

«Учись у жизни, сержант, – повторял Соловьёв после очередного успеха. – Все то и дело твердят: „жизнь сломала“, „жизнь – жестокая штука“. А никто ведь не удосужился проанализировать механизм ломки, никто не пытается понять, в чём собственно жестокость жизни. Жизнь логична, сержант. В этом её сила. Поэтому человек бессилен перед жизнью. Не надо быть садистом. Ты должен стать для своих испытуемых жизнью. Позволь им прожить отпущенные нормальному человеку 60–80 лет за 6–8 дней, и пациент скажет и сделает всё, о чем ты его вежливо попросишь».

Они нашли друг друга. Подбирая кадры, Соловьёв ходил вдоль шеренг и смотрел солдатам в глаза. В тот вечер выбор пал на рядового Клааса. Эдик нанялся для одной единственной операции, хотелось денег и приключений, а прослужил с Соловьёвым до конца. Нет, не про-

служил, – проработал. У них это называлось – «работать». Пройдя соловьёвскую школу, Клаас приобрёл, как минимум, один особый навык, необходимый в жизни. Он научился смотреть людям в глаза. И с тех пор ошибся только однажды.

Эльза Абаева. Чеченка. Не красавица: неправильные черты, одутловатое лицо, низкий рост свидетельствовали не в её пользу. Влекла же к Эльзе атмосфера изящной чувственности, незримый источник которой располагался где-то между ступнями и коленями, впрочем, всегда прикрытыми широким платьем. Пухлые икры излучали уют и обетованную негу и в холодное время года сквозь нейлоновую дымку чулок, и летом наперекор крупным бёбрам и прочим изъянам непосредственной телесности. Перебирая взглядом складки ткани, всякий заинтересованный наблюдатель неизменно достигал грудей, двумя крупными каплями нависавших над сложенными в замок маленькими ручками. Раскачивающаяся походка и свободно ниспадающие волосы таили в себе нечто от моря, парусов и горизонта. Но романтическое плавание на каравелле «Эльза» не было безмятежной прогулкой. Лёгкий бриз в любую секунду мог перейти в шквальный ветер и тогда чёрные зрачки обращались в жерла смерчей, а приглушённый голос требовал повиновения и грозил обрушить на голову непокорного огонь и серу.

Эльза, доступными ей средствами, проделывала с людьми то же что и Соловьёв. Они оба, каждый на свой лад, убивали веру в нравственное превосходство человека разумного над живыми организмами, чьё существование направляет инстинкт.

«Она пришла в мою жизнь как отголосок войны, – думал Клаас. – Может и впрямь за всё приходится платить? Ставишь опыты над людьми – будь готов к тому, что поставят и над тобой. И всё без срока давности».

Соловьёв лишал человека души. Каждый его «эксперимент» показывал, насколько иллюзорны горделивые представления о силе духа. Нехватка одного-единственного вещества в организме – и вот, ты уже стал дурачком, овощем. А накануне мнил себя борцом за ислам. Сжимая в руках автомат, шёл в атаку с криком «Аллах акбар!» А теперь лежишь обрубком на тюремной койке и тихо богохульствуешь.

– Как бы ты поступил на моём месте, майор? – спросил как-то пленный.

– Видите ли, Аслан, – начал Соловьёв задумчиво. – Вам, наверное, не приходит это в голову, но я тоже человек. Такой же, как и Вы, хоть и не мусульманин. Война эта начата не мной, и не Вами. Даже не Вашими ближневосточными покровителями и не моим московским начальством. Она началась два века назад при Шамиле. И никак не окончится. Мы с вами знаем это наверняка. Мы служим войне. Поэтому, если бы я оказался у Вас, Вы делали бы со мной то же, что я с Вами. А я, скорее всего, вёл бы себя так же, как пытаетесь вести себя в настоящий момент Вы. Я не верю в героизм, Аслан. Хотите курить? Пожалуйста.

Так вот, я не верю в героизм. Я признаю только силу обстоятельств. Вы, как я понимаю, верите в героизм, и в Аллаха, и в восемнадцать девственниц на том свете, и ещё во много прекрасных вещей. Что ж, это не возбраняется. Это даже похвально. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», как говаривал Чацкий. Но умереть мучеником, быстро и легко, у Вас не получилось. Вы в плену. Теперь, по слову Грибоедова, мы будем вешать и миловать. Грибоедов – это тот, который «Горе от ума» написал. Чацкий – главный герой. Видите Аслан, так мы и русскую литературу повторим заодно. И историю нашу общую. Вы продолжаете дело Шамиля, а я – дело Ермолова и его сподвижника Грибоедова. Так что прежде, чем Вы доберётесь до своих небесных гурий, попробуйте не утратить веру. Это нелегко. Ой, как нелегко! Мой прадед был верующим человеком, до того, как попал в чекистский застенок. Белый офицер, герой обороны Крыма от большевиков. Вышел он из тюрьмы атеистом. Не расстреляли. Потому что он им служить стал. И Вы нам будете служить, Аслан. Вот сейчас отведаете «жажды счастья», а после мы продолжим беседу.

«Жажда счастья...» Для этой пытки Соловьёв использовал герметичную камеру. В потолке находился люк, который изнутри можно было поднять лишь с большим усилием, да и то, держась одной рукой на весу. В отверстие проходила только голова, вылезти невозможно. Стол посреди камеры ломился от еды. В стене за решёткой стоял телевизор, в углу – кровать. Заключённого, как правило, голодного, помещали в камеру, закупоривали дверь и включали видео: голливудские фильмы, в которых главный герой, преодолевая невероятные трудности, в конце концов, всегда выходит победителем. Наевшись и выспавшись, «испытуемый» чувствовал прилив сил. Вот тут-то его и настигали подозрения. Некоторые поднимали панику ещё до того, как начинали ощущать нехватку воздуха. Чтобы надышаться, клиенты Соловьёва приподнимали люк в потолке, но, ослабев, падали и всё начиналось заново. По мере того, как «испытуемый» терял силы, попытки становились отчаяннее и короче, всё более походя на конвульсии, пока человек не терял сознание.

Сейчас Клаас испытывает нечто подобное. Только в «жажду счастья» играет с ним не майор Соловьёв.

«Соловьёв был выдумщик, – думает Клаас. – Его пытки – произведения искусства. Инсталляции. Перформансы. Он как Босх воплощал в материале свои душевные кошмары. Иначе и быть не могло».

Эдик ничего не знал о прошлом Соловьёва. Чем занимался он до службы в ФСК? Соловьёв погиб в окружении. Раненый, он запретил нести себя и передал командование отрядом... сержанту Клаасу. Эдику запомнился спокойный тон, каким майор отдавал последние распоряжения. Буднично, словно собирался просто пораньше уйти с работы. Когда отряд удалился на пару сот метров, раздался взрыв. Майор подорвал себя вместе с «духами». «Смерь шахида», – подумал в тот момент Клаас.

Эдик переворачивается на спину, смотрит в потолок. Долго лежит так, гипнотически вглядываясь в паука, занятого своей работой.

«И вот так миллионы лет», – недоумевает Клаас.

Насекомое суетится вокруг попавшей в расставленную сеть мухи, оплетает её смертельными нитями, деловито и невинно готовит к смерти отчаянно бьющуюся жертву. Муха замирает.

«Надо бы пропылесосить потолок, – думает Клаас. – Кошмар, уже паутиной зарос».

Он воображает, как труба пылесоса касается люстры, и паутина, этот инженерный шедевр природы, отрываясь от потолка, летит ошмётками в воронку и увлекает за собой хищника, а тот из последних сил цепляется лапками за ненадежную поверхность, пока, наконец, воздушный смерч не уносит его в небытие.

Эдик встаёт, идёт к книжному шкафу. Привычным жестом достаёт большую чёрную тетрадь, листает. Дневник Клаас ведёт с самого детства. «Летопись окаменелостей души», как он в шутку называет его. Вот запись пятилетней давности. Этим стихотворением он намеревался свести счёты с юностью. Написано стихотворение, как впрочем, почти весь дневник, на немецком.

С тех пор, как Эдик переехал в Сочи, он почти не разговаривал с Амалией Вольдемаровой по-немецки. Он по-прежнему хорошо понимал этот язык, но писал и говорил уже с трудом. Тем не менее, по непонятным ему самому причинам, сокровенные мысли он доверял только немецкому, который даже не был языком его сибирской родни. Меннониты говорили на диалекте, отдаленно напоминавшем голландский язык. Немецкий они учили, чтобы

читать Библию. Как и большинство меннонитов, земляки Эдика употребляли старинный перевод Священного Писания, выполненный Лютером. В далеком XVI веке отношения между приверженцами Мартина Лютера и Менно Симонса не сложились – меннониты не признали государственной церкви и воинской службы, а Лютер, не особо вдаваясь в тонкости их учения, пустил под одну гребёнку миролюбивых меннонитов и анабаптистских бунтарей, что учинили кровавую оргию в городе Мюнстере. Всех, кто считал крещение несмышлёных младенцев нарушением евангельской заповеди, доктор Лютер презрительно именовал «проповедниками из-за угла». После такой характеристики лютеранские князья не церемонились с горсткой отщепенцев, а уж в католические страны им вообще дорога была заказана. Но меннонитов выручало трудолюбие. Государи терпели их какое-то время, нуждаясь в добросовестных работниках. Лучше всего предкам Эдуарда жилось в Пруссии при Фридрихе Великом, который уверял просвещённую общественность, что в его королевстве каждый волен обрести вечное блаженство по собственному фасону. Но со временем прусские короли, как и прочие властители, начали тяготиться меннонитскими привилегиями, и требовали от меннонитов служить в армии как все нормальные христиане, не хуже их разбирающиеся в Священном Писании. Тогда святые в который раз снялись с насиженных мест, и ушли восвояси – кто на восток, кто на запад, туда, где власти нуждались в их мозолистых руках и готовы были оставить в покое их натруженную совесть. Так докатилась волна переселенцев до Российской Империи. Произошло это малоприметное для православного люда событие в царствование Екатерины Великой, добросовестно изводившей в себе немку, при этом, однако охотно населявшей окраины своего необъятного государства немецкими колонистами. Переселившиеся из Данцига меннониты осели в 1789 году на днепровском острове Хортица, а век спустя некоторые из них, прельщённые стольпинской раздачей земли, потянулись на Обь. Прибытие отцов-основателей на Украину обросло выразительным германским мифом. «Когда-то давно в Хортицу приехали прапрадеды, – рассказывала Эдику прабабушка – а там тысячелетний дуб стоял. Вот там они заселились под этим дубом».

Клаас, увлекавшийся одно время историей своего народа, с большим доверием относился к преданию о казаке Дворяненко, с которым встретились меннониты в первый день по прибытии на Хортицу. Встреча двух культур ничем выдающимся отмечена не была и, скорее всего, потомки и не узнали бы об этом происшествии, если бы Дворяненко следующей же ночью не украл у меннонитов коня.

Меннониты – народ книги. С детства они знали наизусть целые главы Библии, цитаты Священного Писания украшали полотенца и салфетки в их домах, самая речь их изобиловала библейскими выражениями. Учителя немецкой словесности пользовались в меннонитской среде особым уважением как хранители библейского языка, ибо другой Библии, кроме лютеровской, они не признавали. Понимая святость возложенной на неё миссии, Амалия, будущая Клаас, а в ту пору ещё Вильямс, отличавшаяся способностью к иностранным языкам, покинула родной хутор, и отправилась в Иркутск поступать в университет. Конечно, помогло не только благословение общины, но и покровительство влиятельных русских друзей, обладателей партбилета КПСС, которые сумели скрыть сомнительную национальность и сектантское прошлое абитуриентки Вильямс.

В её маленькой судьбе таинственным отголоском повторилась история христианской Европы. Движимая благочестивым стремлением изучить немецкий язык во имя сохранения веры, Амалия увлеклась литературой светской. Гёте, Гёльдерлин, Шиллер, Ремарк, Цвейг, братья Манн – сонм жрецов мирской словесности овладел её душой, потеснив пророка Исайю и апостола Павла, которые дотоле безраздельно господствовали над нею. Своему сыну гуманистка Клаас читала вслух отнюдь не одну только Библию.

В детстве Эдик засыпал под сказки братьев Гримм, подростком он ночами просиживал над историческими романами, особенно дорога ему была книга Виллибальда Алексиса

«Роланд Берлинский». Черёд классики пришёл сравнительно поздно, о чём Клаас никогда не жалел. Лессинга, Шиллера, Рильке, Ремарка не постигла печальная участь их русских собратьев по перу, которых учащегося средней школы Эдуарда Клааса вынуждала читать программа по литературе – читать рано, быстро и небрежно. Чуткость к языку не подпускала к переводным текстам, отчего космос мировой литературы казался Эдику совершенно недостижимым. Лишь единожды прочёл он переводной роман, но странные совпадения, связанные с этой книгой, настолько напугали его, что он, вопреки жгучему желанию, никогда к ней не возвращался. Зато книга периодически возвращалась к нему. Он не стал бы читать роман Шарля де Костера, если бы не издание 1915 г., заинтересовавшее Клааса своей древностью, если бы главный герой не был современником Менно Симонса, если бы... Он знал, что все эти «если бы» надуманы. Клаасу суждено было прочесть «Легенду об Уленшпигеле» ради сцены, в которой Тиль и его мать приходят к месту аутодафе, где был сожжён еретик – отец Тилия. Тягостное чувство сжимало сердце Эдика, когда он читал:

«Сирота и вдова поднялись по обуглившимся поленьям к телу Клааса. Обливаясь слезами, они поцеловали его лицо. На месте сердца пламя выжгло у Клааса глубокую дыру, и Уленшпигель достал оттуда немного пепла, потом они с Сооткин опустились на колени и начали молиться. Когда забрезжил свет, они все ещё были здесь. Но на рассвете стражник, подумав, что ему может влететь за поблажку, прогнал их. Дома Сооткин взяла лоскуток красного и лоскуток чёрного шёлка, сшила мешочек и высыпала в него пепел. К мешочку она пришила две ленточки, чтобы Уленшпигель мог носить его на шее. Надевая на него мешочек, она сказала:

– Пепел – это сердце моего мужа, красный шелк – это его кровь, чёрный шёлк – это знак нашего траура, – пусть же это вечно будет у тебя на груди, как пламя мести его палачам.

– Хорошо, – сказал Уленшпигель.

Вдова обняла сироту, и в этот миг вошло солнце».

Стоило Эдику позабыть о Клаасе и его пепле, как, включив телевизор, он попадал на фильм «Легенда о Тиле», причём именно фильм первый – «Пепел Клааса». При знакомстве в университете, каждый пятый, услышав фамилию Эдика, считал своим долгом воскликнуть: «Пепел Клааса стучит в моё сердце».

Одно лишь утешало – и книга, и фильм, и цитаты звучали по-русски.

Немецкий же так остался их с мамой заповедным языком. В редких случаях Амалия Вольдемаровна Клаас, чтобы сохранить маленькие секреты от посторонних ушей, обращалась к Эдику по-немецки в присутствии чужих, иногда даже пастора Денлингера. Делала она это всегда играючи, словно в шутку, чтобы не задеть присутствующих. Каждая, словно ненароком брошенная Амалией Вольдемаровной немецкая фраза, наполняла душу Эдика блаженным чувством доверия к жизни, единения с мамой. Этот язык навсегда остался волшебством, заклинанием, открывавшим потаённые двери в замок его сердца, священной оградой, оберегавшей сокровенное. А теперь, когда Клаасы почти перестали говорить по-немецки, он стал ещё и языком сакральным, предназначенным исключительно для философствования и выражения высших чувств. Немецкий, почти мёртвый язык, гулко отдавался во всех уголках души его, точно средневековая латынь под сводами готического храма.

Погребальные костры черноморских закатов, тяжёлые благовония сочинской осени будоражили детские воспоминания – всполохи снега, рождественский аромат долгих сибирских ночей, целомудренную недосказанность северной природы. Чем больше сливался он с югом, тем отчётливее говорил в нем север, чем глубже пускал он корни в русскую почву, тем ярче проявлялась его инородчество. Он ощущал в себе две, три души, нераздельные и неслиянные, возникшие в разные эпохи его жизни и никогда вполне не покидавшие его. И вот, когда эти души, пробуждённые неожиданным возгласом дрозда в лесу или медовым ароматом османтуса по

осени, начинали говорить друг с другом, ему, их первосвященнику и слуге, нужен был немецкий язык, чтобы объять и выразить невысказанное вслух. А бывало и так, что среди многоголосья внутри себя он слышал эхо далёких времен, будто среди дружеских застолий раздавался гомон брейгелевских мужиков.

Клаас вглядывался в исписанные страницы дневника, и в памяти проступали смутные очертания эмоций, иссушавших его изнутри, когда глубокой ночью, он царапал на конверте:

So frei wie verwelkte Blätter,
Unsterblich wie «n toter Stamm—
Man tanzt unabhängig vom Wetter,
Man tanzt so energisch und lahm.

In riesigen Glasgebäuden
In winzigen Großstadtbüros
Genossen wird Lebensfreude,
Wie man sie noch nie genoss.

Die einzige aus Millionen
Ist diese Generation.
War das ein gelungenes Klonen?
Mislungene Perfektion?

Schon da ist die neue Gattung —
Ein Übermensch-Gerät.
Empfindungen warten auf Schaltung.
Sie sind doch Elektrizität.

«Gram», «Glück» sind uralte Worte.
Jetzt gehts um «Entspannung» und «Stress».
Gekommen aus der Retorte,
Wir glauben an «progress».

Verdorren der Esche Wurzeln,
Und keine der Runen spricht.
Die greisen Gehirnrunzeln
Verzehren Gottes Gesicht.

Свободны как увядшие листья,
Бессмертны как мертвый ствол —
Танцуют невзирая на погоду,
Танцуют, бодро прихрамывая.

В огромных зданиях из стекла,
В крошечных офисах больших городов
Наслаждаются радостью жизни,
Как не наслаждались ещё никогда.

Это поколение —
Единственное из миллионов.
Что это было: удачное клонирование?
Неудавшееся совершенство?

Вот он – новый вид:
Агрегат-сверхчеловек.
Чувства ждут подключения,
Они ведь электричество.

«Скорбь», «счастье» – это древние слова.
Сейчас говорят о «релаксации» и «стрессе».
Мы вышли из пробирки,
Мы веруем в progress

Увядают корни ясеня,
И все руны молчат.
Морщины старческого мозга
Пожирают лик Божий.

Воспоминания окутывают ядовитым дымом, струятся из глубин детства, оттуда, где начал тлеть адский огонёк сомнения. Вот молитвенный дом. Библейские беседы. Пение. Проповедь пастора Денлингера. Мама.

Узы сыновней преданности стремительно таяли в пряных лучах кавказского солнца. Всё то время, пока Клаас посещал баптистское собрание, мысли его витали в местах иных. Паренёк из пригожего хутора, в котором дорожки между грядками посыпались песком с регулярностью маятника, а слово «дурак» считалось чудовищным ругательством, рвался на заплёванные семечками сочинские променады, тянулся к архитектурным поверхностям, исписанными такими словосочетаниями, значение которых будущий автор «Оды русскому мату» сумел постичь отнюдь не сразу. Но когда он постиг эти письма – ничто уже не могло лишить его обрётённого сокровища народной словесности.

Воздух свободы пьянил, перемены ласкали юную жизнь словно лёгкий морской бриз. Эдик не успел опомниться, как нежный ветерок обратился в шквальный ураган, сбивавший с ног, увлекавший куда-то вдаль, игравший с ним как с безвольной былинкой. На религиозном жаргоне новое откровение бытия именовалось – «похоть». В одноклассницах, дворовых девчонках и даже в сестрах-баптистках он стал замечать признаки пола. Причём взгляд его привлекали не только «канонически» допустимые лицо и волосы. Его волновала округлость женской груди и плавные очертания бёдер. Пацаны приносили в школу журнал «Playboy» и ходили в видео-клубы смотреть «парнуху». Похоть манила Эдика, обволакивала, влекла в бездну, которой он страшился и одновременно жаждал. «Кто посмотрит на женщину с вождением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своём», – шептала ему потрёпанная Библия. Эдик умолял Бога избавить его от вождения и не верил в помощь. Действительно, Господь не помог ему, как не помог сплетнице тёте Ане, и ещё многим, многим христианам, которые не просили у Спасителя ни денег, ни власти, ни беззаботной жизни, а умоляли об избавлении от зависти и ревности, гордыни и гнева, о даровании любви к ближнему и ко врагу, о чистоте сердца и помыслов. Все оставалось по-прежнему. Старые грешники умирали, новые приходили. И калялись, калялись, калялись... Крестили новообращенных. Многие из них – бывшие алкоголики и воры. Они изменились к лучшему: не лежали пьяными на улице и не шарили по карманам. Из грешников больших они превращались в грешников малых, как

все прочие, и тоже каялись, каялись, каялись... А ещё спорили с неверующими и инаковерующими об «истине». И удивлялись, что им так мало кого удавалось убедить и обратить, хотя «истина», казалось, настолько ясно и просто изложена в Священном Писании, что понять её может даже ребёнок. Однако всякий раз миссионеры сталкивались с иными истинами – православными, кришнаитскими, мусульманскими, атеистическими, а чаще всего – с житейскими. У каждой истины были свои аргументы и контраргументы, свои адепты и «писания», священные и не очень. Калейдоскоп истин представлялся Эдику неким сюрреалистическим спектаклем. И в душе его вновь занималось... сомнение.

Похоть и сомнение соединились в образе Любы – девушки не по годам зрелой и весьма эффектной. Говорили о ней разное: молодые превозносили, старики ругали. Стоило Эдику услышать её звонкий смех, ощутить запах каштановых волос или поймать взглядом игравшее на ветру синенькое платьице вдалеке, как «истина» тотчас же никла и осыпалась, словно цветок, забытый в вазе съехавшими постояльцами. Люба читала самиздатовские эротические рассказы, которые, несмотря на щекотливость темы, нельзя было назвать безвкусными. Во всяком случае, чтение это не шло ни в какое сравнение с тем, что Эдик поглядывал с приятелями в видео-клубах. Незаметно для себя он увлёкся, а так как внешность весьма выгодно отличала его от сверстников, Люба с нескрываемым удовольствием принимала от юного немца знаки внимания. Но Эдик не был последователен в своих стремлениях. Он нет-нет, да и вспоминал об «истине», требовавшей, чтобы любовь явилась душе как чувство в высшей степени жертвенное, платоническое. Не то чтобы Эдик сомневался в искренности порыва. В отличие от друзей, которые просто «сгребали» своих «тёлок», «лизались» с ними, «лапали», «трахали» а потом «посылали на х**», Эдик готов был претерпеть что угодно ради одного лишь благосклонного взгляда Любы, её улыбки, смеха. Но юноше казалось, будто его чувство недостаточно возвышенно, ибо с самого начала осквернено желанием, узнав о котором Люба, как думал Эдик, непременно прониклась бы к нему отвращением. В прозрачный родник влюбленности всегда подмешивался яд плотского влечения. И когда Эдик, принимая душ, оказывался принуждённым к откровенным признаниям самому себе, он обнаруживал, что любовь его прикрывает всю ту же общую с приятелями цель – «полизаться», «полапать», «трахнуть».

Это смущало.

Развязка наступила скоро. Люба пригласила Эдика на день рождения. С подарком и охапкой роз Клаас пришел к ней домой в назначенный час и с удивлением обнаружил, что он – единственный гость. Слушали музыку, пили чай, ели торт. Превозмогая волнение и робость, он признался Любе в своих чувствах. Она подошла и положила руки ему на плечи. Робко поцеловались. Эдик обнял её. Сквозь тонкую ткань он ощутил горячее упругое тело...

За Любой последовали другие женщины. Многие. Вскоре Эдик превзошёл приятелей в любовных подвигах. Завидуя, они обзывали его бабником, стравливали с оскорбленными рогоносцами. Но восходящая звезда Эдуард Клаас выходил победителем и из уличных потасовок, и из школьных олимпиад, и из пьянок, из борьбы за «тёлок». По воскресеньям он всё реже появлялся в молитвенном доме. Мать никогда не спрашивала о причинах, и он ей в глубине души был за это признателен. Всё складывалось как нельзя лучше, однако мало-помалу Эдик стал ощущать смутное беспокойство. Ему опротивела свобода плевать и ругаться матом. Как в раннем детстве он принялся тщательно скоблить своё жилище, чаще мылся и регулярно ходил в парикмахерскую. Та другая, сибирская, ипостась его восставала против новой жизни, не позволяя воспользоваться плодами побед.

После выпускного бала, плавно перетекшего в попойку, Клаасу впервые приснился сон, который с тех пор он видел каждый раз, когда в жизни наступал перелом. Эдику снилось, будто он танцует на дискотеке перед горисполкомом. Вокруг музыка, фейерверк, народные гулянья.

И тут он замечает на помосте, прямо за спиной ди-джея, огромную вязанку дров, а посреди неё – столб.

– Итак, – объявил ди-джей, – настал решающий момент. Сейчас будет избран счастливчик! Он один удостоится аутодафе! Самый лучший! Самый смелый! Самый красивый! Самый талантливый!

Эдиком овладевает ужас, он пятится назад, протискиваясь сквозь толпу, он уже почти выбрался на свободу, как вдруг его настигает возглас:

– В конкурсе победил... Эдуард Клаас!

Толпа восторженно ревет, Эдика подхватывают сотни рук, он плывет по огромному человеческому морю, кричит, барахтается, а толпа распалается всё больше. Его привязывают к столбу, обливают бензином. Ди-джей подходит с факелом.

– Десять! Девять! Восемь! Семь!

– Не надо, – орёт Клаас что есть мочи. – Я не хочу! Идите к черту!

– Шесть! Пять! – ревет толпа.

– Отведите меня к маме! Пожалуйста, отведите меня к маме... – жалобно рыдает он, – Она ждёт дома. Она волнуется.

– Четыре! Три! Два!

– Я вас очень прошу! Не надо мне ничего! Только отпустите!

– Один!

Проснулся на полу возле кровати. Первое, о чём успел подумать в то утро, была церковь. «Вновь этот религиозный рефлекс», – досадовал Эдик. Точно и не было никакого Сочи в его жизни, не было разочарований и очарований взросления. Когда дело шло о главном, он сразу же ощущал в душе айсберг веры, растопить который не могла даже южная жара. Объятая пламенем, ледяная скала стояла несокрушимо как Божья воля ко спасению избранного от вечности грешника. Всякий раз, оказавшись на краю пропасти, Клаас ощущал в себе предопределенность, обрекавшую его быть вечным иммигрантом, мыслить на чужом языке, жить в мире сем, но не быть от мира сего, гореть и не сгорать, получать желаемое и не желать его, но жаждать чего-то иного, чего не бывает в этом мире. Эдик взглянул на часы – даже если очень поторопиться, он успеет лишь к половине собрания. Тем не менее, он быстро оделся, умылся и пошёл на остановку. В тот день лил сильный дождь, пробки образовались невероятные, так что успеть даже к концу воскресного богослужения не было никакой возможности. По мере того, как Эдик приближался к молитвенному дому, в нём росло чувство, будто он делает всё неправильно. Он ощущал фальшь собственного порыва, вполне отдавая себе отчет в том, что жизнь изменилась и войти в одну и ту же реку дважды не получится. Между тем небо расчистилось. Клаас подошёл к церковной ограде, как вдруг над горами забрезжила радуга. Он открыл калитку. Из молитвенного дома доносилось пение, которое можно было слышать только теперь, когда смолк лай дравшихся на дороге псов. Эдик медлил, пытаясь внушить себе, что и прекратившийся дождь, и радуга, и пение, которым встречало его знакомое здание – это добрый знак свыше. Дверь легко подалась. На него хлынул поток ликующей музыки. Эдику казалось, будто тридцать человек хористов собрались по повелению Божию, чтобы приветствовать возвращение блудного сына. Он не видел людей, а только слышал могучее пение, струящееся сквозь него, кружащее, вздымающееся к небу и зовущее за собой – туда, в бездонную синь, навстречу солнцу и звёздам.

– Стоп, стоп, стоп! – лязгнул голос дирижера. – Тенора, не жуйте слова. Чётче: «Христос вос-крес, алли-лу-я». Давайте ещё раз.

Репетиция продолжалась. Эдик уже ничего не слышал. Он стоял, прислонившись к стене, и разглядывал знакомые лица. Некоторых хористов он знал близко. Сейчас они перестанут

петь и разойдутся по домам, где их ждут маленькие радости и печали. Кто-то закончил ремонт. Кто-то его только начинает. Вон тот женился, а жилья своего пока нет.

Вспомнился гляцевый буклет с фотографией молодого человека у церковного окна и надписью: «Твоя жизнь может измениться».

Эдик незаметно прокрался к двери и вышел. Радугу поглотила серость дождливого неба. Во дворе здоровый израненный кабель спаривался со шупленькой сукой – её равнодушная морда отражалась в надколотом оконном стекле, торчавшем из лужи.

Прошло столько лет, а Эдик помнит всё до мельчайших подробностей.

Он усмехается: думал, что это конец, а, на самом деле, это был только первый раунд. Сколько их ещё будет? И что в конце?

Клаас переворачивает кассету, нажимает «play».

– Зачем ты вернулся, – взвывает магнитофон. – Зачем? Именно тогда, когда я привык жить без тебя, когда я смирился с участью песчинки в сгустке мировой грязи! Я уже научился получать удовольствие от своей свободы, от одиночества и обречённости. Зачем ты вернулся?

«Как будто совсем не мой голос, – констатирует Эдик, чтобы не прислушиваться к записи. – Как же всё-таки магнитофон искажает звук».

– Я знаю, что такое человеческая любовь, – продолжает запись. – Человеческая любовь, пропитанная кровью, потом и грязью. Она мала, но осязаема. А что такое твоя любовь? Ты умер за меня, за всех нас? Но извини, я этого не сумел оценить. Грешен, не сумел. Видишь ли, мне милее моё маленькое человеческое счастье. Дай мне его, и я успокоюсь! Но нет. Ты же – небесная любовь. Без цвета, без запаха... Как радиация. Ты любишь и мучаешь, мучаешь и любишь.

Ненавижу тебя! Слышишь – ненавижу!»

Эдик сжимается всем телом, ощущая, как истошный вопль полосует его словно бритвой. К счастью, в этот миг раздаётся звонок.

Второй голос

И всё же фортуна благосклонна к нему! Такими мгновениями жил мастер Альбрехт, ради них готов он был терпеть любые невзгоды. Пусть и в свои тридцать лет не получил он лаврового венка как сын виноградаря, великий поэт Целтис, познавший славу в двадцать с небольшим, зато люди знающие, встречая Альбрехта на прогулке, спрашивают почтительно: «Куда изволит поспешать германский Апеллес?» Пусть ему приходится жить под одной крышей с хворым отцом и старухой-матерью, которые всю дорогу бранят его за покупку бесполезных в хозяйстве вещей, не понимая, сколь необходимы они в работе. Пусть вечно не хватает денег и приходится занимать то у Паумгартнера, то у Пиркгеймера... Зато у Пиркгеймера он всегда желанный гость. До чего же славно, что удачу свою он встретил именно в этом просторном покое, ибо он служил великолепным обрамлением образу, который старался запечатлеть в своей памяти мастер. Сложенные из стеклянных дисков окна разбрызгивали цветными кляксами вечернее солнце среди вензелей вьющейся растительности, искусно изображённой на стенах и потолке. Двухступенчатый подоконник украшали редкие фолианты, а хозяин дома, возвышавшийся бесформенной грудой над массивным столом, сообщал интерьеру размах и солидность. Мощные ягодицы Пиркгеймера утопали в бархате подушки, что умягчала дубовое сидалище с невысокой спинкой. Голос его, раздуваемый мехами тройного подбородка, трубно вещал отрывок «Диалогов» Лукиана, глаза то и дело отрывались от манускрипта, выкатываясь на присутствующих двумя перезрелыми сливами.

Друг Вилибальд переживал не лучшие времена. В этом году город проиграл сражение, во время которого конница под командованием Пиркгеймера позорно обратилась в бегство. Враги в Городском Совете подняли голову. Правда, военные неудачи и интриги в Совете ничуть не уменьшили состояния Пиркгеймеров. В сравнении с Дюрером Пиркгеймеры были сказочно богаты. Но мастер Альбрехт не завидовал. Он был рад, что ему, по крайней мере, не грозила нищета, как многим его товарищам по цеху. Скромным достатком он был обязан собственному таланту и, если верить гороскопу, некогда составленному ученым каноником Лоренцом Бегаймом, – звёздам. В тот вечер Бегайм восседал по левую руку от «Германского Апеллеса» и услаждал слух лукиановскими пассажами, а язык – риволийским вином. По заключению Бегайма, звёзды признавали великий талант Альбрехта и характеризовали его как удачливого любовника, коего влечет ко многим женщинам сразу. Звёзды не ошиблись. Сладострастные порывы действительно выводили Альбрехта из уныния, охватывавшего его всякий раз при мысли о бездетности жены. Ещё он утешался мыслью, что им с Агнес не пришлось хоронить ни одного ребёнка, тогда как мать Альбрехта, Барбара Дюрер, схоронила пятнадцать детей.

Но всё это было мелочью в сравнении с мигом творчества, когда обстоятельства и талант соединялись в одну гениальную ноту. Месяцами бродил Дюрер по улицам Нюрнберга и окрестностям. Пытливый взгляд его изучал дома и товары в лавках, деревья и травы, но главное – людей: руки, жесты, позы, выражения лиц, источали шершавую простоту, которую только начал огранять восстающий из греко-римских руин рассудок.

Жители Нюрнберга уже привыкли к чудачествам господина Дюрера, даже отцы хорошеньких горожанок не бранили его, если он сверх меры глазел на их дочерей. В конце концов, слава о живописце облетела всю Германию, и как знать, думал каждый ханжа, не увековечит ли мастер в очередной гравюре пригожее личико именно его ангелочка. Однако с приезжими у «Германского Апеллеса» случались неприятности. Особенно благородные особы приходили в ярость, когда безродный ремесленник нагло пялился на них, словно они шуты на торжище. Именитые гости кипятились, а Дюреру это и было нужно. Его интересовали образы человеческих страстей. Вот, от гнева на шее вздулась вена, глаза вылезают из орбит. Прекрасно, теперь

мастер Альбрехт знает, как должен выглядеть всадник слева на гравюре к «Апокалипсису». А вот, жирный прелат смерил его презрительным взглядом. Это лицо займет достойное место на гравюре «Мучение святого Иоанна». В лето 1498 от рождества Христова, когда Дюрер работал над «Апокалипсисом Иоанна Богослова», недостатка в гримасах гнева, ужаса и отчаяния не было. Век подходил к концу, Европа жила ожиданием Страшного суда. Но 1500 год миновал, а светопреставление так и не наступило. Уже прошло два года с тех пор, как люди вернулись к своим привычным занятиям. Глаза мастера тоже обратились к земле в поисках сюжетов. И вот она, наконец – удача!

Всё в этом человеке привлекало мастера Альбрехта: лицо, фигура, кисти рук являли собой воплощение самой что ни на есть земной силы. Низкий лоб, крупный орлиный нос, мощный подбородок, льняные, до плеч, волосы, гордая осанка не допускали даже намёка на возможность отступления. Но, главное... Главное – взгляд. Серый цвет зрачков контрастировал с клокодавшей в недрах души страстью, придавая взгляду особую пронзительность. Дюрер мог бы вообразить подобный взгляд в чёрных или карих глазах, но серый лёд, казалось, должен был расплавиться от вулканического жара, клокодавшего в холодных недрах. Белый плащ с чёрным крестом на правом плече, одеяние воинов Ливонского ордена, довершал облик рыцаря. Дюрер водил пальцем по краю стола, будто набрасывая портрет крестоносца. Мастеру дано видеть то, что ускользает от простых смертных, пусть они и великие ученые, как Пиркгеймер, или даже сам Цельтис, приезда которого члены «Братства Цельтиса» ждали со дня на день. Никто из них не способен уловить в облике людей тайну души так, как Дюрер, и от предстояния этой тайне у мастера Альбрехта мороз шёл по коже. Вглядываясь в такие вот лица, он смутно чувствовал, что люди не делятся на грешных и праведных, как принято думать, нет. Есть только одно разделение в мире – на сильных и слабых. Люди-исполины, от рождения движимые заключённой в них мощью, становятся великими во всём, за что бы не взялись. Если они пускаются в далёкое плавание, то либо погибают, либо совершают открытие, как Колумб десятью годами ранее. Если они становятся на путь святой жизни, то, подобно библейским пророкам, словом покоряют огромные города, бесстрашно обличают порок даже самого Папы Римского – таким был доминиканец Савонарола, замученный нечестивым Папой Борджия в тот самый год, когда Дюрер впервые ступил на землю Италии. Вся Флоренция лежала у ног монаха. Король Франции трепетал пред ним. Если же страсть влекла своего избранника (или жертву?) к ратным подвигам, то ему уготовано стать таким человеком, каким был Конрад Шварц.

Рядом с крестоносцем сидел его брат-близнец Генрих. Словно желая довести образ до лубочного гротеска, природа наделила единоутробных совершенно разными характерами, легко читавшимися в их облике. Голова Генриха парила аскетичной луной над златотканым воротом белой в складку рубахи. В пику брату он носил бороду и усы, которые то и дело впились в выпячиваемую нижнюю губу. Из родового замка фамилии Шварц Генрих давно перебрался в Нюрнберг. Он оказывал городу значительные услуги как на дипломатическом так и на военном поприще, однако более увлекался книгами и учёными беседами, нежели политикой. О войне он всегда отзывался с сожалением, как о наименьшем зле, к которому следует прибегать лишь ради предотвращения зла большего. В отличие от этого потомственного дворянина Вилибальд Пиркгеймер, городской чиновник и учёный до мозга костей, гордился своими военными победами, о которых напоминал его доспех, красовавшийся на рыцарский манер в углу залы. Он даже посвятил книгу походу 1499 года против восставших швейцарских кантонов. Та война была для Нюрнберга совершенно бессмысленной, но Император Альбрехт потребовал от города выступить на стороне Швабского Союза, и Пиркгеймера отправили сражаться со швейцарскими горцами. Его отряд состоял из нескольких сот пехотинцев, нескольких десятков всадников и шести пушек. Швабский Союз проиграл, но Пиркгеймер прославился. В кругу друзей, во всяком случае.

Конраду Шварцу не требовалось ни доспехов, ни книг, чтобы казаться воинственным. Лицо было его забралом, осанка – латами. Многое дал бы Дюрер, чтобы Шварц согласился ему позировать, но на рассвете следующего дня Конрад непременно хотел отправиться назад в Ливонию. Брат уговаривал его задержаться хотя бы на пару дней ради знакомства с Цельтисом, но тот твердил, что очень торопится, ибо магистру Вольтеру фон Плеттенбергу срочно требуются подкрепления. От того, как скоро поспеют корабли из Любека в Ригу, зависит будущее Ордена.

Темнело. Служанка зажгла свечи и снова наполнила сосуд. Каноник Бегайм участливо осмотрел её дородный круп, и явно не отказал бы себе в удовольствии хлопнуть сбитую нюрнбергенку по заду, если б не духовный сан и малознакомый гость.

На стене заплясали длинные тени. Уютная зала обрела вид вполне подходящей сцене нисхождения лукиановского Мениппа в преисподнюю, которую декламировал Пиркгеймер. Разочарованный бесконечными прениями философов Менипп намеревался расспросить о последних истинах самого Тиресия, героя «Одиссеи». Пиркгеймер старался привлечь внимание слушателей именно к этому фрагменту своего перевода, содержащему, как он полагал, ключевую мысль всего произведения:

«Лучшая жизнь, – вещал Тиресий устами Вилибальда, – жизнь простых людей; она и самая разумная. Оставь нелепые исследования небесных светил, не ищи целей и причин и наплюй на сложные построения мудрецов. Считаю всё это пустым вздором, преследуй только одно: чтобы настоящее было удобно; всё прочее минуй со смехом и не привязывайся ни к чему прочно».

Пиркгеймер сделал паузу, многозначительно выкатил сливовые глаза на гостей и сложил пухлые губы в бабочку.

– Вы ждёте комментариев, любезный Вилибальд, – прервал молчание каноник Бегайм. – Не прибегая к помощи звёзд, я читаю Ваши мысли. А думаете Вы вот о чём: как можно назвать нелепыми исследования небесных светил? Как возможно пылливому уму, коего все здесь присутствующие несомненные обладатели, отказаться от поиска целей и причин бытия? Кто смеет восхвалять образ жизни простолюдинов, кои вообще не удосуживаются прибегать к услугам разума, разве только торгуясь на рынке?

Бегайм, желая насладиться произведённым впечатлением, в свою очередь сделал многозначительную паузу. Убедившись, что взоры собеседников исполнены любопытства, он продолжил:

– На сие я отвечу Вам, что человек никогда не довольствуется своим положением, такова его природа. Простак стремится к познанию, ибо оно кажется ему лёгким делом. Учёный же, набив шишек на ухабистой дороге наук, жаждет простоты, поскольку убедился в тщетности своих стараний доискаться до истины.

Дюрер мысленно согласился с Бегаймом. Сколько лет бьётся он над постижением гармонии при помощи счислений, и всё напрасно. Фигуры, построенные по принципу математики, получаются безжизненными.

– Однако, следует ли из сказанного Вами, что нам должно отказаться от познания? – продудел Пиркгеймер, роняя подбородки на грудь.

– Вовсе нет! Сможете ли Вы, дорогой Вилибальд, или Вы Мастер, коего справедливо нарекли германским Аппеллесом, – каноник выразительно посмотрел на Дюрера, – сможете ли Вы пресытиться изысканными яствами от одного лишь взгляда на блюдо, ими наполненное? Или же, что ещё забавнее, сможете ли Вы пресытиться дивными дарами природы, внимая рассказам счастливых, которым довелось вкушать оные?

– Понимаю Ваш намёк, любезнейший Лоренц, – ответил Мастер Дюрер, улыбаясь едва заметно. – Вы хотите сказать, что Лукиан жил в веке, изобиловавшем знаниями, потому и мог выказывать к сему сокровищу такое небрежение. Мы же едва вкусили сладких плодов с древа познания и не ещё не в силах понять древнего насмешника, как голодный не в силах внять рассуждениям пресыщенного.

– Истинно так! К сему заключению приходим мы, взглянув на мрак невежества, окутывающий немецкие университеты. Вы только послушайте нынешних софистов: чуждые изящной мудрости древних они мнят, будто для христианского народа нет ничего важнее, чем уяснить пути передачи первородного греха.

– Или же, – подхватил Пиркгеймер, – ответить на вопрос, можно ли будет есть и пить по воскресении плоти в пакибытии.

Залу огласил одобрительный смех. Мастер Альбрехт хохотал, разбрасывая светлые кудри по плечам, Конрад Шварц обнажил крепкие зубы, Генрих вонзил нижнюю губу в усы и смеялся обоими крыльями изысканного носа, хозяин дома булькал всем телом, испытывая на прочность стул, а каноник Бегайм ограничился громким выхлопом кишечных газов.

– Но неужели мы обречены всю жизнь либо томиться жаждой познания, либо пресыщаться им до тошноты? – подхватил Генрих Нюрнбергский, когда хохот немного улёгся. – Не учат ли древние умеренности во всём – в познании, в любви, в правлении? Не говорят ли об этом и светлейшие умы Италии. «Не терпеть нужды и не иметь излишка, не повелевать другими и не быть в подчинении – вот моя цель», писал Франциск Петрарка.

– Однако в той занимательной книжечке, – возразил Пиркгеймер, – Петрарка и отвечает себе от лица святого Августина: «Для того чтобы ни в чём не нуждаться, ты должен был бы стряхнуть с себя человеческое естество и стать Богом».

Последний багрянец угас в облаках, лезвие месяца прорезало бархатный полог вечернего неба, караул на городских стенах закончил переключку, но члены Академии, как ещё именовали нюрнбергское «Общество Цельтиса», не замечали течения времени. Они горячо спорили, щеголяя эрудицией, цитируя на память обширные отрывки, соревнуясь в остроумии и подражая в красноречии классическим образцам.

– «Вы смертные от многого отказываетесь не потому, что презираете вещь, а потому что теряете надежду достигнуть желаемого», – обличительно цитировал Пиркгеймер.

– На что Франциск, – возразил Генрих Шварц, – даёт разумный ответ: «Я не мечтаю стать Богом, стяжать бессмертие и охватить небо и землю; мне довольно людской славы, её я жажду и смертный сам, желаю лишь смертного».

– В самом деле, – поддержал Бегайм нюрнбергского дворянина, – если отвлечься от небесных сфер, коими я всё же не настолько увлечён, чтобы позабыть о земном, и обратить взор на дела церковные и светские, то легко заметить источник всех пороков в неумеренности. Отчего процветает невежество в науке благочестия? От того, что многие не знают меры в почитании реликвий. Один курфюрст Саксонский собрал их больше трех тысяч! Мыслимо ли это? Святыни нужны, они укрепляют в нас веру, однако безмерное почитание святынь разрушает оную. Отчего повсюду восстают крестьяне и водружают башмак там, где всегда развешивались благородные стяги? Оттого, что князья сдирают с них не только одежду, но и то, что под ней. Подати нужны, но необходима и мера. И швейцарские кантоны не отложились бы от Империи три года назад, если бы худые советчики не надоумили Императора посягнуть на древние вольности горцев. Мера во всём – вот, на чём утверждено благополучие народов!

– А что думает об этом, – Мастер обратил взгляд кристальных глаз на Конрада, – наш благородный гость, который сражается за мать Церковь в землях столь далёких и диких, что моё воображение едва поспевает за слухами.

Бегайм и Пиркгеймер удивлённо посмотрели на Дюрера. «Зачем же позорить гостя, – укоризненно говорил их взгляд. – Он ведь привык орудовать мечом, а не языком».

Ливонский рыцарь встал из-за стола, прошёлся по зале. Дюрер торжествовал: он в жизни не видел поступи благородней. Манеры курфюрстов казались дешёвым театром в сравнении с естественной хищностью орденского знаменосца. Шварц будто ехал верхом, он казался огромным, отчасти благодаря тени, которую его фигура, освещаемая пламенем свечей, отбрасывала на стену. Вдруг, он резко остановился, и, устремив на академиков пронзительный взор, произнес:

– Умеренность и впрямь нужна, тут я согласен с Вами, дорогой каноник и с тобой, любезный брат. Однако нужна она лишь в одном – в почитании чужих мнений, будь они высказаны древними или новыми авторами. Лукиан сказал глупость – к чему её обсуждать? Если он выразился изящно, давайте усвоим себе изысканную форму, и будем облекать в неё наши собственные мысли. Франциск Петрарка выглядит жалко: он и шага ступить не смеет, не спросив то Августина, то Цицерона, то Вергилия... Он превратил свой ум в ристалище, на котором один мудрец состязается с другим, а поражение терпит та голова, внутри которой происходит баталия. К чему это? Из древних я ценю лишь тех, кто не равнялся на предшественников, но смотрел своими глазами, чувствовал своим сердцем и думал своим умом.

– И о ком же Вы ведёте речь? – изумился Пиркгеймер.

В ответ прозвучала цитата на безупречном греческом:

Бой закипел врассыпную. Сражались бойцы в одиночку,
Вождь напал на вождя. И первый Патрокл многомогущий
Арелика ударил в то время, как он повернулся,
Острою пикой в бедро, насквозь его медью пробивши;
Кость раздробило копьё; и ничком повалился на землю
Ареилик. Менелай же воинственный ранил Фоанта,
Грудь обнажившего возле щита, и члены расслабил.

Крестоносец декламировал, и с каждой строфой на лицах слушателей всё явственнее проступало удивление. Один лишь Шврац Нюрнбергский оставался равнодушным. Казалось даже, он испытывал некоторую неловкость. Когда брат закончил, он поспешил направить беседу в иное русло:

– Ты прекрасно читаешь Гомера, не спорю, – обратился он к Конраду, – но повторю то, что говорил тебе и раньше: мне претит твоя страсть к битвам и кровопролитию. Гомер рисует нам картину неисчислимых бед, кои несёт с собой война, особенно, если её затевают по столь ничтожному поводу как женщина, пусть и прекрасная Елена. Описания битв приводят тебя в восторг, возбуждают страсть, хотя истинное назначение их в том, чтобы сделать более зримым печальный конец военных подвигов.

– В тебе проснулся софист, дражайший брат! – усмехнулся Конрад, положив мощные ладони на дубовый стол.

– Или ты подобно ведьме Эндорской пещеры можешь вызвать из преисподней духов павших в боях троянцев? А может, ты, как Данте с Вергилием, нисходил в туда сам и беседовал с Гомером? Если так, то я умолкаю пред тобой.

– К чему насмехаться над моими суждениями? Ты досадуешь на меня из-за того, что я не терплю кровавых забав?

– Итак, с Гомером ты не общался. В таком случае, позволь поинтересоваться: какова основа твоего суждения о намерениях поэта? Как знать, может описание битв волновало его кровь не меньше, чем нынешнее рыцарство волнуют повествования о славном Парсифале, вер-

ном Роланде или храбром Зигфриде? А может, Гомер просто хотел поразвлечь своих слушателей и заработать на безбедную старость? Ну а если он вообще не заботился о том, что воспевать, лишь бы повествование звучало живо и пленяло воображение, что тогда? Отчего же избирать лишь то объяснение, которое тебе по душе? Не ссылайся на Гомера, просто скажи: мне, благородному Шварцу из Нюрнберга, противна война! И довольно сего. Ты воспеваешь умеренность, так прояви же её в толковании древних.

– Вы, судя по всему, испытываете неприязнь к сей добродетели? – попытался съязвить Бегайм, никак не ожидавший встретить в орденском знаменосце столь сильного соперника.

– Умеренность обольщает душу, – ответил Конрад небрежно. – К тому же, она поработает нас Хроносу.

Все ждали продолжения, но Шварц в безмолвии перемещался по комнате, сложив руки на груди.

– Умеренность поработает нас времени? – недоуменно переспросил Бегайм. – Мне довелось слышать множество парадоксов, однако сей весьма необычен. Что до меня, то я, скромно следуя мудрости древней и новой, почитаю умеренность великой добродетелью, если не сказать – величайшей.

Конрад Шварц снял со стены массивные песочные часы и с таинственным видом поднес их к столу. Некоторое время он молча стоял так, сжимая деревянный корпус между ладонями. Пламя свечи отражалось в стеклянной колбе, облизывая пять резных колонн, её обрамлявших. Академики смотрели то на часы, то на голову крестоносца, словно пытаясь разгадать связь между тем и другим. В зале установилась загадочная тишина, нарушаемая лишь топотом служанки внизу да пьяным гомоном на улице. Уловив миг наивысшего напряжения, Шварц взмахом фокусника перевернул часы и поставил на стол. Песчинки запрыгали по дну колбы, сливаясь в крошечный курган, который неумолимо поднимался навстречу песчаному ручейку. Мастер Альбрехт впился глазами в орлиную фигуру крестоносца, нависшего над часами, точно он и был богом времени, прозревающим судьбы.

Шварц бросил взгляд на Бегайма, и глаза его едва заметно засветились иронией.

– Чудный летний вечер, не так ли каноник? – произнёс он столь громко и неожиданно, что все вздрогнули. – Его украшает не только достойное общество и незримое присутствие древних, но и отменное вино, коим столь великодушно угощает нас господин Пиркгеймер. Умеренность предписывает Вам не пить более сего божественного нектара, однако Вы опустошаете один сосуд за другим. Завтра Вам будет дурно, и, кто знает, не продлится ли качка весь день. Вы станете сожалеть, что позабыли о мере и пренебрегли благоразумием. Возможно, Вас уже посещают покаянные мысли.

– О, боги! – взорвался Бегайм. – Да какое же всё это имеет касательство к Хроносу? Я вижу, Вы искусный оратор, но монолог не стоит слишком затягивать, иначе слушатели начнут зевать в тот самое мгновение, когда ритор более всего нуждается в их внимании!

– За два часа удовольствия Вы заплатите целым днём тошноты, не так ли?

– Надеюсь, испытание не будет столь продолжительным.

– Пусть так, но оно продлится дольше, чем наслаждение.

– Увы.

– Означает ли сие, что Вам нужно немедленно остановиться и больше не прикасаться к вину, кое столь заманчиво искриться в кубке?

– Неужто Ваш ответ – «нет»?

– Верно, дорогой каноник, мой ответ – «нет».

Шварц вновь стал расхаживать по комнате, беседуя со всеми и ни с кем, подкрепляя увесистые слова округлыми жестами.

– Что есть «час»? Что есть «день»? «Месяц»? «Год»? Лишь временные промежутки. Один больше, другой меньше. Но кто осмелится утверждать, что большая величина непременно превосходит своей ценностью величину меньшую?

– То есть? – встрял Пиркгеймер, – По Вашему выходит, что час может быть длиннее года?

– Истинно так! Бывают часы, которые стоят многих лет. Вся суть в начинке. Вы же не станете утверждать, дорогой Вилибальд, будто кошелек туго набитый гульденами Вам менее дорог, чем те огромные пивные бочки, что выкатывают на городскую площадь на праздники? Вспомните притчу о сокровище, зарытом на поле! Ведомые умеренностью бредут по полю, усеянному кладами, но у них не достаёт ни отваги, ни ума, чтобы пожертвовать малым ради обретения великого.

– И Вы хотите меня убедить, что напейся я сегодня, мне будет жить слаще, даже притом, что весь завтрашний день я проведу в постели?

– Точно!

– Но ведь это «премудрость» вагантов!

– Ваганты выгодно отличаются от «мудрецов» тем, что не задумываются о последствиях. Они не разменивают удовольствие на время и не измеряют его последствиями. И, если уж так важно мнение древних, со мной согласен Абеляр.

– Вы снова удивляете меня! – произнес Бегайм сомнамбулическим тоном, особо выделяя «снова». – Ограничусь замечанием, что Абеяра никак нельзя причислить к древним. Он покинул сей грешный мир немногим более трёх веков тому назад. Гневные обличения святого Бернара, с коими обрушился он на абеяровы сочинения, ещё звучат в ушах наших богословов.

– Это происходит единственно от того, что они не чистят уши, – булькнул Пиркгеймер. – Всё, туда однажды попавшее, застревает навечно.

– Как бы там ни было, – продолжил Конрад. – Абеляр в «Истории моих бедствий» оставил грядущим поколениям свидетельство весьма красноречивое.

Шварц распахнул окно. Июньский вечер матовым парусом ласкался к остроконечным крышам. С улицы веяло свежестью. В отличие от большинства домов Нюрнберга, обитель Пиркгеймеров хорошо продувалась и обыкновенное в те времена уличное зловоние здесь почти не чувствовалось. Неподалеку горланили подвыпившие ваганты:

Я у Катрин заночевал,
Пришлось девице туго.
На влажный корень поднажал,
И лопнула подпруга.

– Пошёл прочь, мерзавец! – рывкнула бабья глотка. – Вот тебе, свинья!

Плеск извергшихся из окна помоев, хохот.

– Ой, не сердите меня, матушка! – орал вагант. – Не то передумаю и не возьму вашу Катарину в жёны.

– Ах ты, скотина! Ах ты червь книжный! Плесень ты погребная! Уключина дьявола! Много вас развелось, троглодитов! Честной девушке от вас проходу нет! Только и знаете, что слоняться по городам, бездельники, да трудовой люд поносить! Ты взгляни на себя, воловий ты хвост! Больно ты нужен моей Кэте, невымое твоё рыло!

– Ну, насчёт рыла не знаю, а о прочих достоинствах можете дочку расспросить. Впрочем, скоро и сами увидите. Она аккурат к рождеству посылочку-то от меня и справит!

Взрыв хохота, брань. Новые голоса, должно быть, соседи. Гвалт поднялся необыкновенный, дело шло к потасовке. Шварц закрыл окно и пригубил из кубка.

– Признайтесь, – рассмеялся Бегайм, – Вы просто разжигаете наше любопытство.

– Вовсе нет, дорогой Лоренц.

Собеседники стали позволять себе легкую фамильярность.

– Лоренц, Вы ещё не признали своё поражение, – напомнил Дюрер, наматывая белокурый локон на холёный палец. – Мне думается, благородный Шварц прекрасно объяснил свой тезис об умеренности как служанке Хроноса.

– Благодарю германского Апеллеса, – воскликнул Шварц, осушив кубок.

– И всё же, Абельяр – не более чем уловка! – упорствовал Бегайм.

– Отнюдь, – настаивал Конрад.

– Не томите, – потребовал Пиркгеймер. – Что это за свидетельство, которое рекомендует пить и ни о чём не тужить?

– Абельяр говорит не о питии, но о занятии не менее достойном.

– Неужели? – рассмеялся Шварц из Нюрнберга. – Полагаю, об учёных занятиях?

– Нет, о любви. О плотской любви!

– А, эта история с Элоизой! – отмахнулся Бегайм. – Боюсь, Вы попали в сети, которые сами и расставили. Разве Абельяр не пишет о позоре, коему был подвергнут? Разве не раскрывается в совершённом прелюбодеянии? Разве не сокрушается о своём безумии, навлекшем страшную месть дяди?

– Страшную месть? – оживился Генрих.

– Да, страшную. Ибо только лишь Ориген мог согласиться на такое добровольно во имя добродетели.

– Да что же с ним сделали?

– С кем, с Оригеном, или с Абельяром?

– С обоими! – зашёлся хмельным хохотом Пиркгеймер.

Беседа всё более походила на те речи, которые во все времена можно услышать повсюду, где случится быть питейному заведению.

– Абельяра... – Бегайм окинул любопытных торжествующим взглядом, – оскопили! Да, соделали евнухом, или как он сам говорит, ежели мне не изменяет память, «изуродовали те части тела, которыми» он «совершил то, на что они жаловались».

– О, ужас! – возмутился Нюрнбергский рыцарь. – Бедолага!

– И вопреки Вашему утверждению, – Бегайм тщетно попытался дотянуться указательным пальцем до рыцарской цепи на шее Конрада, – Абельяр с величайшим прискорбием вспоминает свой безумный поступок и признаёт справедливость кары, которую навлекло на него Провидение!

– Коль скоро моему брату позволено читать между строк у Гомера, – возразил тот, – то и я позволю себе ненадолго сию прихоть в отношении Абельяра.

Шварц принял позу проповедника за кафедрой.

– Оскоплённый, униженный, кающийся, поверженный во прах, постригшийся в монахи, потерявший возлюбленную, он всё же не может удержаться от восторга, вспоминая о своих любовных приключениях. «Итак, – говорит Абельяр, – под предлогом учения мы всецело предавались любви, и усердие в занятиях доставляло нам тайное уединение. И над раскрытыми книгами больше звучали слова о любви, чем об учении; больше было поцелуев, чем мудрых изречений; руки чаще тянулись к груди, чем к книгам, а глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным.»

Воображение Дюрера, то следуя за описанием, то опережая его, рисовало груды книг, столь любимых им, и два обнаженных тела, увлекаемых токами страсти. В этом было что-то от грехопадения прародителей. Альбрехт силился поймать возникший образ, чтобы разглядеть лица, а речь Шварца текла, и новые картины смывали прежние, словно волны слизывали песчаные замки на берегу Остзейского моря.

– «Чтобы возбуждать меньше подозрений, я наносил Элоизе удары, но не в гневе, а с любовью, не в раздражении, а с нежностью, и эти удары были приятней любого бальзама.

Что дальше? Охваченные страстью, мы не упустили ни одной из любовных ласк с добавлением и всего того необычного, что могла придумать любовь. И чем меньше этих наслаждений мы испытали в прошлом, тем пламенней предавались им и тем менее пресыщения они у нас вызывали».

Шварц умолк. Захмелевшие мужи мечтательно смотрели, кто на вино в кубке, кто на пламя свечей. О чём думали они? Вспоминали свои любовные похождения? Жаждали новых? Или просто предались неге, которая невольно овладевает сердцем и пронизывает тело всякий раз, как только вечная женственность, в одном из бесчисленных образов своих, является мужской душе?

Подле кованного подсвечника на стол рухнул мотылек с опалёнными крыльями. Другой отчаянно бился лужице вина.

– Годы страдания ради мига наслаждения... – проронил Бегайм. – Вы описали сие столь красноречиво, доблестный рыцарь креста, что я готов признать Вас победителем в сегодняшнем диспуте.

– Я бы на Вашем месте не торопился возлагать венец на чело моего брата. – Тон Генриха был таким, будто на раскаленное железо плеснули ледяной водой. – Хотя мне и льстит, что мой горячо любимый Конрад владеет языком столь же искусно, сколь и мечом, однако, справедливости ради, должен заметить, что он похищает у Вас победу, великодушный Лоренц. Ибо незаметно переведя разговор с войны, прискорбнейшего из человеческих занятий, на любовь – занятие достойнейшее, хоть порой и сопряженное со страданием, он вводит Вас в заблуждение. Это всё равно, что доказывать преимущества чистилища, перечисляя красоты рая!

– Я мог бы тебе возразить, любезный брат, сказав, что любовь суть та же война. Страсть возможна лишь тогда, когда мужчина покоряет женщину. Впрочем, ты мало что в этом смыслешь, ибо верность супруги и домашний очаг заменяют тебе любовные битвы.

– Твои слова ни мало не задевают меня. Право, к чему бороздить неведомые моря в поисках клада, когда твой дом полон сокровищ?

– Избрав для себя путь благоразумия и довольства, ты навсегда утратил из виду тропу счастья.

Близнец вздрогнул. Конрад посмотрел брату в глаза, и его губы зашлись ухмылкой.

– Я избрал стезю счастья. Посему благоразумие и довольство мне неведомы. Я не измеряю земной путь временем, Хронос не властен надо мною. Я служу Афродите, а более всего – Марсу!

– Вы, несомненно, столь же храбры, сколь и умны, благородный Конрад, – начал Пиркгеймер. – Я надеюсь, список сих достоинств может пополнить и искренность. Признайтесь, не взимает ли Марс плату за военные подвиги страхом перед лицом опасности? Когда сквозь прорезь забрала видишь противника, кой мчится навстречу, выставив копьё, когда слышишь свист пролетающих стрел и ядер, когда понимаешь, что в любой миг можно лишиться какого-нибудь из членов, или даже самой жизни, не сжимает ли сердце страх? Лишь честь и жажда славы толкают воина на подвиги, однако упоение битвой приходит уже после битвы вкупе с облегчением. Тягостное чувство сие особенно остро, когда твой соратник исходит стонами и истекает кровью у тебя на глазах.

– Любезный Вилибальд! – крестоносец понизил голос. – Войско в четыре тысячи рыцарей и две тысячи ландскнехтов, обращающее в бегство сорокатысячную армию, во-первых, ведо́мо искусным полководцем, а во-вторых, состоит из бесстрашных воинов.

– С шестью тысячами одолеть сорок? – изумился мастер Альбрехт.

– Не смею усомниться в правдивости Ваших слов, – продолжил Вилибальд. – Но сей подвиг достоин того, чтобы быть воспетым как победа Александра Великого над персами! Кто же сей искусный полководец? Поведайте нам.

– Магистр Вольтер фон Плеттенберг! А случилась сия битва не далее как в прошлом году в день святой Моники на реке Серица, что верстах в десяти от русской крепости Изборск.

– Вы видели сие своими глазами? – в Бегайме заговорило любопытство хрониста.

– Не только видел, но держал орденское знамя, бился, командовал и был ранен, правда, легко. К чести магистра добавлю, что из двух тысяч ландскнехтов, едва ли половина происходила из немецких земель, остальные – местные земледельцы, ливы и эсты, никудышные вояки!

– Но что же могло подвигнуть магистра на столь отчаянные, ежели не сказать, безрассудные деяния?

– Отчасти надежда на литовского князя Александра, который к тому времени успел увенчать себя и польской короной, так что располагал значительными силами. Магистр заключил с ним договор в Вендене. Главная же причина состояла в опасности потерять Ливонию. Это могло случиться весьма скоро, если не нанести москвитам поражение одним сокрушительным ударом. Магистр как никто знает русских, ибо ещё четырнадцатилетним отроком покинул отеческий замок Мейерих у Зёста и прибыл в Нарву – крепость на самой границе с владениями Иоанна Московского. Лет десять назад московский князь повелел заложить свой город прямо напротив Нарвы, и назвал его собственным именем – Ивангород. Сея твердыня – источник непрестанной опасности и напоминание о том, что нас ждёт, предайся мы умеренности и неге. Магистр преодолел собственную неприязнь к прочим князьям Ливонии, как духовным так и светским, враждебным Ордену, что говорит о его великодушии. Однако то, что ему удалось убедить в необходимости общих действий против москвитов даже архиепископа Рижского и граждан Риги, кои испытывают к нему столь же мало симпатий, как и вы к своим соседям, маркграфам Гогенцоллернам, – это свидетельство веры всех ливонских немцев в талант и храбрость Плеттенберга.

При упоминании маркграфов Пиркгеймер и Дюрер нахмурились. Ещё свежи были воспоминания о последней ссоре из-за горных разработок вблизи Нюрнберга. У отца «германского Апеллеса» была доля в предприятии. Гогенцоллерны никогда не упускали возможности досадить нюрнбержцам, порой безо всякой выгоды для себя. Именитому и знаменитому бюргерству, цвет которого благоухал в доме Пиркгеймера, претила дворянская спесь, сквозившая в словах ливонца. Однако у них хватило благоразумия не затевать ссору. Погрузив отяжелевший взгляд в винные кубки, они молча слушали знаменосца.

– Венденский договор, – рассказывал тот, получая нескрываемое удовольствие от удавшегося выпада, – стал первой блестящей победой магистра. Договор подтвердили все начальствующие Ливонии, епископы Ревельский, курляндский, эзельский, дерптский и, как я уже сказал, архиепископ рижский. Достоин упоминания, что, ещё будучи маршалом Ордена, брат Вольтер весьма успешно воевал с Ригой. Конечно, если бы не память о великом бедствии, которое приключилось купцам ганзейских городов в Новгороде в самый год избрания Плеттенберга магистром, архиепископ и горожане вряд ли оказались бы столь покладисты.

– Земли, о которых Вы говорите столь далеки, – перебил Пиркгеймер, – а события столь диковинны, что я уже потерял нить повествования. Не пора ли нам перейти к той славной битве, с которой Вы начали?

– Проявите терпение, дорогой Вилибальд! – возмутился Бегайм. – Посольская история не менее занимательна, чем ратная. Вам ли этого не знать? Разве не вызывает восхищение то обстоятельство, что мужи из немецких земель дошли чуть не до края христианского мира, покорили неведомые племена, основали города, возвели крепости и держат сии далекие земли, даже не имея единства между собою, окруженные грозными врагами! Так что же случилось в Новгороде с купцами достославного Ганзейского Союза?

– Рассказывают, будто некий москвит творил в Ревеле всяческие гнусности. Когда его уличили, горожане пришли в такое неистовство, что предали мерзавца сожжению. Но история имела продолжение, ибо граждане Ревеля сказали соотечественникам казнённого, что не пре-

минули бы изжарить и самого Князя Московского, сделай он подобное. Слова сии передали Иоанну, а тот только и ждал повода вмешаться в ливонские дела. Несчастье усугублялось безрассудством ревельцев, которые издевались над поданными Иоанна как хотели. Московский Князь потребовал выдачи всего ревельского магистрата. Ему отказали. Тогда-то и случилось дело неслыханное, даже в наших краях: 49 ганзейских купцов очутились в темнице, церковь закрыли, все товары отправили в Москву – Иоаннову столицу.

– Из каких же городов происходили те купцы? – поинтересовался Пиркгеймер.

– Из Любека, Гамбурга, из Грейфсвальда, Люнебурга, Мюнстера и ещё из городов восьми.

– Невероятно! – покачал головой мастер Альбрехт. – И сколь давно произошло сие бедствие?

– Восемь лет назад. С тех пор немецкие купцы более не торгуют в Новгороде.

– Ещё бы, – крикнул Бегайм утробно. – Кто же захочет испытывать судьбу! Наши князья да короли не манна небесная, но подобного себе не позволяют. Бессмысленно резать курицу, несущую золотые яйца!

– Даже государи Франции и Испании, могущественнейшие в христианском свете, не подняли бы руку на столько славных городов, – добавил Генрих Шварц.

– Потому-то войны, свирепствующие в землях немецких или итальянских, не идут ни в какое сравнение с той враждой, которая сталкивает нас с москвитями. Король Франции захватил в своё время Флоренцию, однако город не пришел из-за этого в упадок. А вот ежели Иоанн Московский захватит Ревель или Ригу, никто не сможет поручиться ни за имущество покорённых, ни за их жизнь.

– Так чем же закончилась история? – торопил Бегайм.

– В Москву прибыли послы магистра, семидесяти ганзейских городов и Литовского князя. Последний, к слову сказать, женат на дочери Иоанна. Через год Московит отпустил купцов, однако без товаров. Вернулись немногие: Одни умерли в темнице, другие потонули во время плавания из Ревеля в Любек. А ревельцы, бывшие виновниками сих бедствий, ещё и остались в выигрыше, потому что торговля из Новгорода перешла к ним, к Риге и Дерпту. Правда не надолго, ибо Нарва, расположенная у самой границы, превзошла эти города.

– И что же предпринял Ваш магистр?

– Магистр искал возможности отомстить, но силы Ордена, даже при поддержке всего Ганзейского Союза, не могли сравняться числом с московитским войском. Помогла война Иоанна с Александром Литовским. Иоанн требовал, чтобы его признали государем всех русских земель, которые издавна поделены между Москвою и Литвою, а Александр, понятное дело, отказывался. Ещё были у них какие-то споры из-за веры, будто бы греческий Закон попирается в Литве, и дочь Иоаннова не имеет придворной церкви, где служба ведётся по-гречески.

Как бы там ни было, в прошлом году заключили мы с Александром договор, и начали войну. Магистр с лихвой отплатил Иоанну, схватив в Дерпте более двухсот московитских купцов, и поступил с ними также, как великий князь с ганзейскими торговцами. Наша ярость не знала границ! Мы хотели отомстить русским за все унижения, которые претерпевали многие годы. Наше войско истребляло всё вокруг их города Пскова, мы сеяли ужас и панику. Мы располагали четырьмя тысячами рыцарей, четырьмя тысячами ландскнехтов и четырьмя тысячами вооруженных крестьян. Русских же было сорок тысяч, и они долго не решались вступить с нами в битву. По правде сказать, не знаю, кого больше боялись их военачальники, нас или собственного князя. У московитов благородный человек мало чем отличается от простолюдина – Великий князь может с ним сделать всё, что захочет.

Наконец, они дождались указа от Иоанна и сразились с нами. Сошлись на берегу реки Серица. Магистр обрушил на русских град пушечных ядер. Дым и грохот так напугали бедолаг, что они потеряли строй и превратились в стадо баранов!

– Вы утверждаете, что, вступали в бой с сорокатысячной армией, будучи уверены в победе?

– Да нет же. Я никогда не уверен в победе. Не из тех я ротозеев, кои задирают нос перед сражением, но обращают к противнику спину, как только дело идёт не так, как они задумали. Я считаю каждую битву последней, впрочем...

– Итак, храбрый рыцарь, – перебил Пиркгеймер. – Вы не боитесь смерти? Странно, странно. Это ведь, в некотором смысле, противно человеческой природе. Правда есть души, поражённые недугом меланхолии – таковые намеренно ищут погибели. Уж не этого ли Вы сорта человек?

– Но друг мой Вилибальд, – укоризненно возразил Бегайм, – Ваш гость отнюдь не похож на несчастного, жаждущего распротиться с жизнью.

– Воистину так! – подтвердил Шварц. – Некогда я избрал путь счастья, пренебрегши стезёй благоразумия, а потому мое тело украшают шрамы, душа же до отказа набита прекрасными воспоминаниями, как сундуки Фуггеров золотом!

При этих словах лицо Генриха омрачилось, за выражением суеверного страха угадывалась некая тайна.

– Вилибальд перебил Вас, – сказал мастер, почувствовав близость разгадки. – Между тем, рассуждая о готовности к смерти перед каждой битвой, Вы произнесли слово «впрочем». Что означает сия оговорка?

– Ах, господин Дюрер, – смягчился крестоносец, оценивший проницательность мастера. – Хотя я и принимаю каждую схватку как последнюю, мне доподлинно известно, что последний бой ещё впереди. Вы, наверняка, испытываете похожее чувство, занимаясь своим божественным ремеслом. Не скрою, ожидая, пока гости соберутся, мы с Вилибальдом говорили о Вас.

– Весьма польщён!

– Вилибальд сообщил мне о своём восхищении той уверенностью, с которой Вы наносите изображение на поверхность бумаги или холста. Но при этом, как он уверяет, Вас часто терзают сомнения.

– Вы продали меня с потрохами, рыцарь! – расхохотался Пиркгеймер. – Я всегда считал благородных господ болтунами, и Вы прекрасно подтвердили моё предубеждение против дворян. Вы не умеете держать язык за зубами, чёрт возьми!

– Что правда, то правда. Сдержанность в речах – не дворянская добродетель, – согласился Конрад. – Так вот, в Вашей душе, дорогой мастер, одновременно обитают уверенность и сомнение, чувства совершенно противоположные. Подобное настроение испытываю я перед битвой. Я знаю, что могу погибнуть, и в то же время уверен, что сей час ещё не наступил.

– Я составлю для Вас гороскоп, господин Шварц, – воскликнул Бегайм. – Тогда Вы будете знать, если не день и час своей смерти, то хотя бы приблизительное время оной.

– Благодарю, мудрый каноник, но время отшествия в мир иной мне и без того известно.

– Неужели?

– Шутить изволите?

– Как можно?

Бегайм уставился на Конрада, мастер принял вид гончей, предвкушающей добычу, Пиркгеймер скептически посмотрел в бокал.

– Об этом позже, – ответил Шварц снисходительно. – Я ведь ещё не закончил свою повесть о прошлогодней кампании, то есть не пригвоздил окончательно умеренность к позорному столбу.

– Я весь во внимании, – поддержал Пиркгеймер, подавая знак служанке принести ещё вина. – Но, по правде сказать, не хотел бы я оказаться Вашим противником на поле брани.

Ибо если Вы преследуете врага столь же упорно как избранную тему разговора, то горе Вашим врагам!

– Самое трудное, – продолжил крестоносец, – началось после битвы. Жители Изборска, которых подталкивала к ратному подвигу не жажда славы, а страх смерти, оказались храбрее воинов. Они зажгли предместья и на следующий день оказали нам решительное сопротивление. Мы же только раззадоривали их, сжигая дотла одно селение за другим. В день святой Регины в местечке Остров разом погорело четыре тысячи душ.

– Твоя откровенность, Конрад, – бросил гневно Генрих, – происходит то ли от великой добродетели, то ли от великой порочности, но эти свидетельства постыдной кровожадности стократно усиливают мою ненависть к ратному ремеслу.

– Оттого я тебя и люблю, братец, что твоя добродетель восполняет мою порочность.

Просвещённые бюргеры одобрительно захихикали, злорадствуя дворянской перепалке.

– Литовцы подошли к московитской крепости Опочка, чтобы оттуда вместе с нами двинуться на Псков, – рассказывал крестоносец невозмутимо. – Но тут приключилось нам великое несчастье, ибо от мерзкой пищи и нехватки соли мы начали оправляться кровью. Силы наши таяли. Кое-как добрались мы до своих замков и поспешили в них укрыться. Наступила осень, полили дожди. Мы надеялись, что московиты не пойдут по грязи, но на сей раз отмщения жаждали они. Их военачальник Даниил Щеня, очень храбрый воин, опустошил окрестности Дерпта, Нейгаузена и Мариенбурга. В плен к русским попало сорок тысяч душ. Нам ничего не оставалось, как отсиживаться в замках. Я укрылся в Гельмете. Опасность отдалилась, но от болезни и вынужденного бездействия мною овладели тяжёлые думы. Сомнения не давали покоя. «Не напрасно ли я покинул отчизну шесть лет тому назад, – думал я. – Неужто суждено мне бесславно погибнуть от жестокой болезни тут, на окраине мира, в окружении дикарей?»

– Хоть раз в жизни светлая мысль посетила твою железную голову! – воскликнул Генрих, поднимая кубок, словно желал предложить тост за столь великое прозрение.

– Но тут я снова вспомнил день, когда распрощался с путём благоразумия ради стези счастья. И, ей Богу, ни разу не пожалел об этом дне!

– Думаешь, тебе дано было избрать путь благоразумия?

В вопросе Генриха, явно задуманном как очередная издёвка, сквозил испуг.

– Да, любезный брат, – ответил Конрад дерзко. – Порой двум людям снится один и тот же сон.

Гримаса суеверного ужаса, изобразившаяся на лице нюрнбергского дворянина, вновь напомнила Дюреру апокалиптические физиономии, которые он гравировал четырьмя годами ранее.

– Позволь, я закончу свой рассказ. Итак, время шло, силы убывали, московиты бесчинствовали в наших пределах. Помощи ждать неоткуда, положение стало совершенно отчаянным. Отчаяние же толкает к безрассудству. Одним словом, мы решили идти на прорыв. Собрали оставшийся порох, зарядили пушки, вооружились. В полной темноте вышли за стены Гельмета. После первого же залпа напали на лагерь русских. Московитов трудно было застать врасплох, ещё сложнее напугать, ибо они знали о нашей малочисленности и бедственном положении. Мне посчастливилось рубиться с их князем, Александром Оболенским. Я одолел его, и на какое-то время в их рядах произошло замешательство, но затем они насели на нас с тройной силой, так что нам пришлось совсем худо. Полк дерптского епископа истребили полностью. Трусы – они сами ускорили свою гибель, обратившись в бегство! Их убивали не клинками, а шестопёрами, как вепрей на охоте. Ни одного не осталось. После сего злополучного сражения магистр Плеттенберг и отправил меня в немецкие земли требовать подкреплений.

– Многие ли откликнулись на призыв храброго магистра? – поинтересовался Пиркгеймер.

– В таком деле воинов никогда не бывает слишком много. В Любеке собираются швейцарские ратники. Как ни ненавидит мой брат войну, а толк в ратном искусстве он знает. Никто иной как Генрих Шварц присоветовал мне положиться на швейцарцев и их аркебузы. По правде сказать, я всецело ему доверяю в подобных делах. Завтра отправлюсь в обратный путь. Хорошо бы к Петрову дню быть в Риге со свежим войском.

– И всё же жаль, что Вы не встретитесь с теской Цельтисом, – покачал головой Бегайм.

– Неужто нельзя задержаться хоть на пару дней? – недоумевал Пиркгеймер.

– Вы ни за что не уговорите моего брата, – ответил Генрих вместо единокровного. – Уж если он что вбил себе в голову, то и удар шестопёром не сможет его от этой мысли отвадить.

– Встреча со столь знаменитым человеком и впрямь представляется мне весьма заманчивой, – согласился крестоносец. – Я мог бы отправить подкрепление вперёд, а сам задержаться, однако боюсь пропустить сражение.

– О боги! – захохотал Пиркгеймер, цепляясь за надежду удержать гостя в Нюрнберге. – Да сколько у Вас будет ещё этих битв, доблестный рыцарь! Конрад Цельтис – светлейший ум германских земель, да что там германских, всего христианского света!

– Увы, сражение, к которому я спешу, станет главным в моей жизни и... последним.

– Сколько можно говорить загадками, – взвился Бегайм. – Гороскоп Вам не нужен, ибо Вы знаете свой смертный час. Теперь Вы будто бы утверждаете, что Вам известны даже обстоятельства собственной кончины. Что всё это значит? Вы обладаете некими тайными знаниями? Поделитесь же, тут собрались достойные люди.

– Дело в том, почтенный каноник, – произнёс Шварц с расстановкой, то и дело поглядывая на брата, – что путь счастья короче стези благоразумия. Путь, избранный мной шесть лет назад подходит к концу.

Генрих вздрогнул от этих слов, как от удара плетью.

– При описанных мною обстоятельствах уместнее было бы из Швейцарии напрямик отправиться в Любек и сразу же назад в Ливонию, вместо того, чтобы заезжать в Нюрнберг. Для чего же я здесь? Впервые за столько лет? Для того чтобы повидаться с братом, преданно мною любимым, хоть души наши столь же несхожи, как похожи тела. А ещё, я приехал, дабы задать ему вопрос, о котором он наверняка догадывается...

Ливонец замолчал. Генрих Нюрнбергский встал из-за стола, и поступью лунастика двинулся к окну. С каждым шагом он словно набирал по десятку лет. Лицо каноника вопросительно вытянулось, Пиркгеймер сорвался на нелепый жест рукой, словно желая удержать Генриха. Только Конрад и мастер не утратили самообладания: первый спокойно ждал, в то время как второй подмечал движения, изобиловавшие признаками душевной агонии.

– Так значит, я не ошибся, – прошептал Генрих, и добавил чуть громче: – Значит, то и впрямь был вещий сон.

– Так ты тоже сомневался?

– Нет, не сомневался. Скорее, надеялся. Надеялся, что это обычный сон. – Генрих резко повернулся к брату. Оба словно забыли о посторонних. – Но ведь на самом деле ни ты, ни я не выбирали свой жребий! Проснувшись, я продолжал жить, как обычно. Могу поклясться всеми реликвиями всех храмов на свете, что так и не взял в толк, когда и где избрал я стезю, по которой иду до сих пор. Не я избрал, меня избрали. Я стал игрушкой судьбы, бессильный изменить что-либо, как стрелка на циферблате бессильна пред зубчатыми колесами и гирей, что вращают её изо дня в день!

– Подобно всем тем, кто склонен более к размышлению, нежели к поступкам, ты охотнее интересуешься устройством мельницы Провидения, нежели добротностью муки, сыплющейся из её жерновов. Меня же заботит как раз последнее.

Наступила тягостная пауза. Крестоносец хотел, чтобы брат первым прервал молчание. Но тот словно боялся переступить некую грань, отделявшую его от неизбежного.

– Ты приехал повидаться, – сказал он наконец, – ибо увидел окончание сна. Ты понял, что...

Голос его пресёкся. Он сел, потупив взор. Ему вдруг стало неловко от того, что присутствующие стали свидетелями разговора и следили за его душевной борьбой.

– Я знал, что сон приснился нам обоим, – сказал Конрад удовлетворенно. – Я догадался об этом, как только увидел тебя на следующее утро. Ты был в смятении, точно боялся, что я начну тебя расспрашивать.

– Но ты и слова не сказал!

– Рано было. Кто знает, что это за сновидение! Ты ведь до сих пор сомневаешься. И правильно делаешь. Людям всегда снились всякие странные вещи. Лишь по прошествии времени обрёл я уверенность в том, что сон вещий.

– Чем он закончился? – В голосе Генриха прорезалась незнакомая нотка, которая обыкновенно свидетельствует о высшей степени решимости. – Когда ты видел сон в последний раз?

– В Гельмете, в бреду. Я не помню дня, ибо дни и ночи слились в один нескончаемый день, какие бывают летом, к северу от ливонских земель. Я думал, что умираю, но сон дал мне уверенность в том, что хоть смерть моя и близка, однако наступит она меня не в Гельмете.

– Так чем закончился сон?

– Я расскажу тебе. Но прежде хочу спросить кое о чём. Я ведь не случайно повёл сегодня речь об умеренности, счастье и тому подобных возвышенных предметах. Признаюсь, я счёл знаменьем свыше то, что сегодня уважаемый Вилибальд поделился с нами именно этим отрывком своего перевода, а не другим каким.

– От души рад, что оказался в очередной раз если не дланью, то языком Провидения, – отозвался Пиркгеймер. – Однако мне хотелось бы рассчитывать хотя бы на скромное вознаграждение, коль скоро я волей-неволей принял участие в распутывании некой таинственной истории, связывающей двух братьев, кои похожи друг на друга внешне словно два гульдена, и отличаются один от другого характером и назначением как арбалет от лютни! Могу ли я рассчитывать услышать начало драмы, при финале которой присутствую?

– Воистину, друзья мои, – подхватил Бегайм торжественно, – тайны божественного Провидения неисчерпаемы! Мы видим их в судьбах народов, прозреваем в расположении небесных светил. Ныне же перед нашими глазами свершается нечто достойное удивления. Оба брата видели один сон, рыцарь из далёкой Ливонии утверждает, что знает время, когда душа его покинет брненное тело, и всё сие благодаря сну, который привиделся им обоим когда-то. Как хотите, но я жду продолжения!

– Я удовлетворю ваше любопытство, господа, – произнес Конрад слегка покровительственным тоном. – А Генрих, полагаю, дополнит рассказ занимательными подробностями. Но прежде я хочу задать ему вопрос, который мне не давал покоя все эти годы.

– Мне вѣдом твой вопрос! – Нюренбержец снова зашагал по комнате. – Отвечу тебе, Конрад. Всё что ты сегодня сказал об умеренности, благоразумии и счастье – сущая правда. Ты увидел наш фамильный замок и владения в цветущем состоянии...

– Твои владения, брат, твои, – поправил Конрад. – Они принадлежат тебе по праву. Я пошёл своим путем. Всё мое состояние осталось в Ливонии. Там я и найду свой конец.

– Пусть так, не станем спорить о словах. Хотя не скрою, я часто представлял в своих мечтах, как ты, израненный после многих славных и бесславных битв, усталый и одинокий вернёшься домой, и мы проживём остаток наших дней столь же счастливо, как в те дни, когда был жив отец, только в большем благополучии и достатке. Но сон, этот сон, отнял у меня всякую надежду...

– Ну что ж, – попытожил Конрад, – я увидел фамильный замок отстроенным, владения Шварцев, которые девять лет тому назад пребывали в плачевном состоянии, будучи разграбляемы всем, кому ни лень, ныне процветают, и ты даже прибавил к ним кое-что благодаря

выгодной женитьбе. Я увидел твой роскошный дом в этом городе, твоё главное сокровище – библиотеку. Наконец, сегодня я познакомился с твоими друзьями, и должен признать: ты общаешься с самыми блестящими умами и благородными сердцами немецких земель!

– С каких это пор лесть стала рыцарским достоинством? – скривился Пиркгеймер.

– Если Вы считаете мои слова лестью, дорогой Вилибальд, можете не относить их на свой счёт. Хотя, по правде сказать, это было бы лукавством, ибо Вы – не только гостеприимный хозяин, но и душа сего общества.

Слушая пылкие признания Шварца, мастер поражался обманчивости первых впечатлений. «Чем глубже натура, – думал он, – тем более коварно первое соприкосновение».

Все без исключения восприняли Конрада как полную противоположность брату, не предполагая в нём такой широты ума. Тревожный взгляд Бегайма, который тот бросил на мастера при их знакомстве с крестоносцем, выдавал недоумение. Каноник явно опасался, что этот мужлан в белом плаще с черным крестом испортит вечер. Впрочем, мастер с удовлетворением отметил, что оказался единственным, кто угадал внутренний мир гостя, ещё до того, как тот вступил в беседу. Но вот чего «германский Аппеллес» никак не мог угадать в жёстких чертах и пронзительном взгляде орденского знаменосца, так это умения восхищаться людьми.

– Ей-богу, – рассыпался Конрад в комплиментах, – я мечтаю, чтобы в Риге когда-нибудь появился человек столь учёный и деятельный, как Вы, Вилибальд!

Вас, уважаемый каноник, – обратился он к Бегайму, – по достоинству бы оценил магистр Плеттенберг. Он не раз говорил мне, что его замок в Вендене полон вояк и святош, однако в нём не хватает людей, которые бы совмещали храбрость и добродетель с трезвым умом. «Сея земля словно тело без души», – часто повторяет он. Вы бы очень многого достигли в наших краях и стали бы настоящим светочем удела Святой Марии!

– Да он задумал переманить нас на край света! – расхохотался Бегайм.

– А что до Вас, – обратился крестоносец к Дюреру, – то Вам дано проникать в тайны, которые не подвластны ни философии, ни богословию, ни даже, да простит меня каноник, астрологии.

Часами напролёт разглядывал я Ваши гравюры, господин Дюрер. И хотя меня, как и многих, восхищает Ваше умение одними черными штрихами изобразить огонь, туман, телодвижения и саму душу человека, более всего я покорён Вашим умением увидеть и запечатлеть в гравюре нечто таинственное, коренное, чего люди ищут кто в теологии, кто в плотских утехах, кто в сражениях, кто в далеких путешествиях, и чего назвать никто из нас не умеет. Я бы сказал, что Вы изображаете самого Бога, если бы меня не останавливало то общепринятое мнение о Нём, кое бытует среди людей...

Конраду хотелось говорить ещё, но он пресёк нахлынувший порыв и смолк. Завсегдатаи Академии прочувствовали недрами существа своего важность происходящего: как бы ни сложилась их судьба, они никогда не забудут этот вечер с его вином, мерцанием свечей, пляской теней на стене, пьяным пением за окном и образом загадочного рыцаря в белом плаще с черным крестом, такого земного и такого далекого, пришедшего словно ниоткуда, явившегося и явленного как напоминание о том, что все они некогда чувствовали, к чему прикасались, но что утратили – безвозвратно ли? – променяв первородство исканий на чечевичную похлебку знания.

– Итак, ты увидел отстроенный замок... цветущее имение... дом в Нюрнберге... библиотеку.

Генрих говорил медленно, точно пробуя слова на вкус. Память о трудах стяжания отсылалась морщинами на лице его. Лишь при слове «библиотека» он на мгновение просветлел, но вскоре вновь погрузился в свинцовое раздумье. Он походил на царя Эдипа, восставшего из Аида, чтобы напомнить смертным об их участи – быть игрушкой в руках судьбы.

– Можно присовокупить жену с приданным и детей, – обращался он к Конраду. – От твоего взгляда, конечно же, не укрылись мастерские, где в одном здании собраны многие работники, которые благодаря своему количеству и простоте разделённой на множество частей работы, производят весьма добротные ткани, причём в завидном количестве. Ты также увидел, как мои крестьяне любят меня. В моих владениях никому не придёт в голову взбунтоваться и водрузить знамя башмака на месте господского родового стяга. Конечно же, ко мне бегут мужики из других владений, из-за чего возникают стычки с соседями, однако покровительство Императора и дружба с Нюрнбергом избавляют меня от многих нежелательных ссор, а мои земли от разорения. Ты видишь все эти плоды благоразумия и умеренности, миролюбия и применения знаний, почерпнутых мною из книг и во время путешествий. Однако, ты не увидел счастья в моём доме и в моей душе. Ты любопытствуешь о причинах. Ты хочешь перед смертью проникнуть в смысл услышанных во сне слов, понять, почему благоразумие и счастье суть разные пути, а не один и тот же вопреки утверждениям мудрецов и простаков.

Конрад подошел к брату: две тени слились на стене, точно крылья гигантской птицы осенили горницу.

– Мне и впрямь не даёт покоя этот вопрос, – сказал он, вчитываясь в лицо Генриха точно в алхимический рецепт. – Сначала я подумал, что ты слаб духом, и оттого стал искать благополучия. Но вести о тебе – те, что достигали Ливонии – переменили мои мысли. Особенно слухи обо всех этих мастерских и займах, которые ты выдаешь крестьянам. Потом мне стало казаться, будто многочисленные изобретения и приобретения доставляют тебе подлинную радость. Но тут пришло твоё письмо, каждая строка коего говорила об обратном. Тогда я решил отправиться к тебе, чтобы увидеть всё своими глазами. И я увидел: ты великолепен, но несчастен. Почему? Таков мой первый вопрос. А вот и второй: коль скоро сокровища и многочисленные обязанности тянут твой челн ко дну, отчего ты не выбросишь лишний груз за борт и не облегчишь судёнышко ради плавания по волнам радости и наслажденья?

Генрих молчал.

– Быть может, нам следует оставить братьев наедине? – предложил Пиркгеймер. – Неловко чувствовать себя подглядывающим в замочную скважину.

– Нет, останьтесь, прошу Вас! – воскликнул Генрих, и добавил негромко: – Сказанного вполне достаточно, чтобы дать пищу слухам, но недостаточно для того, чтобы угадать истинное положение дела. Я хочу иметь в свидетелях Вас, моих друзей, ибо к кому как не к Вам обращаюсь я за советом и утешением в трудную пору? Кто, как не Вы напомните мне, что было сказано сегодня, а что нет. Это простолюдины верят без оглядки в чудеса, вещие сны, предзнаменования, а человек просвещённый глядит на необычное с опаской, не желая стать жертвой суеверий. Призываю Вас во свидетели моего объяснения с братом, ибо говорить мы будем о предметах незаурядных.

Он поднял на Конрада немигающий взгляд.

– Да, моя душа несчастна, ибо я всегда делаю то, чего требует благоразумие. Ты думаешь, мне хотелось вступать во владение именем? Нет, я тоже мечтал уйти прочь, вместе с португальцами отправиться миссионером в Западную Индию. Но меня удержал долг перед родом, память отца. Кто-то должен продолжить род Шварцев и укрепить его. Я полюбил девушку, на которой не смог жениться, ибо она не была родовита и приданного за ней не давали ни гроша. Я женился на Элсбет, – она стала мне прекрасной женой и родила здоровых сыновей. Но я не люблю её. Я жаждал остаться во Флоренции или поступить на службу к королю Франции, но оказался вынужден вернуться домой, потому что этого требовали дела в имении. Я должен был перестроить свои вотчины так, чтобы хорошо жилось не только хозяевам, но и рабам, как то велит мудрость. Я не хотел выполнять многие поручения, кои мне давали при дворе Императора, однако выполнял их и буду выполнять впредь, ибо от этого зависит мир и благополучие Империи. Я ни разу не сказал и не сделал так, как мне хочется, я постоянно жертвовал собой.

– Зачем, брат? Ведь, ты мог стяжать счастье? Ради чего ты жертвовал? Ради Бога, как те безумцы, что бросают дом, семью и подаются в монахи из-за страха перед Страшным Судом? Да откуда они знают, угодно ли это Богу? Что мы вообще о Нём знаем? Апостолы что-то написали, отцы как-то истолковали, а мы кое-как усвоили!

– Ради общего блага, Конрад. Ради долга.

– Какого долга, брат? Кому ты задолжал? Ты приносишь себя в жертву роду Шварцев? Это ещё большее безумие, чем жертвовать собой во имя веры. Благодетельные безумцы, по крайней мере, надеются обрести награду после смерти, а каково твоё упование? Увидеть собственное продолжение в детях? Но дети – не ты. Или тебя утешает мысль, что потомки с благодарностью вспомнят твоё имя? Однако ещё Соломон писал: «Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и увы! Мудрый умирает наравне с глупым».

– Счастье и наслаждение не суть жизни, Конрад.

– Нет? Какова же суть её? Поведай мне. Что за долг понуждает тебя всю жизнь жертвовать собой ради благополучия, коему сам же и не рад?

– Как ты думаешь, облегчил ли я жизнь крестьянам в моем имении?

– Конечно, но неужели...

– Скажи, а мир в Империи, если его удастся сохранить, послужит ли благу тех, кто сейчас появляется на свет?

– Брат, ты говоришь...

– А книги, кои собраны в стенах моего дома, дома господина Пиркгеймера? А знания учёных мужей, которых ты совершенно справедливо превозносишь, просветят ли мысли будущих поколений, рассеют ли мрак суеверия, облагородят ли нравы?

«Боже мой, – подумал Конрад, – я ведь совсем его не знаю».

Он ощутил прилив гордости за брата и восхищение перед мудростью и благородством этого человека, перед мыслью его, летящей далеко вперёд, перед нестигаемой волей, ведущей к заоблачной цели.

Генрих выразил смысл, которым, несмотря на неуловимость его, жил и Дюрер, и Пиркгеймер, и Бегайм. Блуждая среди ущелий сомнения и вершин тщеславия, каждый из них искал одно единственное сокровище – залог вселенской гармонии, вечную премудрость, логос, философский камень, который обращает руды житейской суеты в золото осмысленного бытия.

Воцарившаяся тишина излучала восторг. В безмолвии горницы зарождались узы, веками соединяющие между собой во имя высшего совершенно непохожие души. Все пятеро чувствовали, как вступают во святилище, коего нет ни на одной карте мира, храм во времени, имя коему – духовное братство.

Им хотелось продлить волшебный миг, овладеть мистерией смысла, совершив, быть может, неведомый доселе ритуал, душевное движение, усилие воли. Но едва только желание это стало вполне осознанным, как волшебство исчезло. И вот уже не осталось ничего, кроме мерцания оплывших свечей на дубовом столе, терпкого вкуса вина во рту и тишины, тяжёлым набатом возвестившей возвращение обыденности. Уклониться ли малодушно от внезапно наступившей неловкости – отшутиться, предложить тост, сделать нарочитый жест – или нарушить привычный ход вещей бесстрашным словом?

– Настало время поведать нашу историю, – произнес Генрих.

Тишина разрешилась смыслом, вселенная встрепенулась, готовая приоткрыть свои ужасные тайны тем, кто на мгновение уловил её ритмы.

Крестоносец скрылся в дальнем углу зала, всецело став голосом, доносящимся из полумрака.

– Отец умер, не оставив последней воли относительно наследства, – начал он. – Мы с братом имели равные права, ибо не было в живых никого, кто мог бы подтвердить первородство мое либо его. Делить владения мы не желали, и вопреки обыкновению, не вцепились друг другу в горло, но стремились уступить наследственные права, почитая каждый другого более достойным. Так прошло три года. Мы вели дела совместно, однако не могли ни в чём сойтись, ибо казавшееся брату разумным, я отвергал, а мои соображения не принимал он. Так, поскольку наши скромные владения оказались как меж двумя жерновами, промеж маркграфских вотчин и земель Нюрнберга, необходимо было примкнуть к одной из противоборствующих партий. Генрих склонялся к вашему городу и Императору, я же полагал, что нужно хранить верность роду Гогенцоллернов. Нельзя было откладывать с решением о наследовании. И вот, некий картезианец убедил нас молить Пресвятую Деву о ниспослании мудрости. Мы стали через день ездить в часовню, что часах в трех хода от нашего замка. Её будто бы построил много лет назад отшельник, и по слухам там многие устаивались ответа Мадонны. Один день на молебен отправлялся я, другой – брат. Шли месяцы. Однажды во время вечерни случилась гроза. Я не хотел возвращаться в проливной дождь и остался ночевать в храме. Подражая святым, я вздумал бодрствовать, однако не прошло и часа, как сон одолел меня.

Тут снится мне, будто еду я на охоту. На мне парадный доспех, на плече – копьё, на бедре – боевой меч. Рядом любимая собака. Конь идет ровно, а собака бежит, что есть сил, и еле поспевает. Кругом туман. Так ехал я довольно долго, не зная, куда. Вдруг туман стал рассеиваться, и я увидел перед собой горную дорогу, которая разветвлялась на две тропы. Откуда-то послышался голос отца, сказавший: «Одна дорога – стезя счастья, другая суть стезя благоразумия». Я обернулся, желая видеть говорившего, но снова очутился в густом тумане. Так ехал я некоторое время, покуда туман не рассеялся во второй раз и я увидел, что нахожусь среди обширного поля, а передо мной опять две дороги. И тот же голос сказал: «Одна дорога – стезя счастья, другая дорога – стезя благоразумия». Я стал озираться, но никого не увидел. Снова густой туман обложил меня. Наконец я выехал к перекрестку двух дорог, обе из которых терялись в лесной чаще. Лес тот был необычный: на деревьях ни листочка, хотя погода стояла летняя. То там, то сям возвышались одинокие каменные глыбы, на горизонте виднелась гора, поросшая деревьями и кустарником. На вершине её располагался величественный замок с двумя мощными башнями: одна, та что пониже, круглая и без окон, другая, очень высокая, была четырехугольной и имела множество бойниц. Голос отца в третий раз проговорил мне те же самые слова. Я хотел спросить, какая из двух дорог – тропа счастья, по какой следует идти, но отец, словно зная, о чём я намерен говорить, произнес: «Завтра ты ступишь на одну из них». Некоторое время я стоял в нерешительности, не зная, куда направиться, как вдруг конь сам понёс меня. Так очутились мы в лесной чаще. С каждым шагом она принимала всё более зловещий вид. На дороге попадались черепа, хрустели ветки, словно по лесу бродил огромный зверь, потом всё снова смолкало. Дорога петляла между каменных глыб, а порой и просто так на ровном месте. Единственной живностью были ящерицы – огромные, вполовину моего пса. Всякий раз, как я поднимался на холм, замок казался ближе. Я понял, что дорога ведёт на замковую гору, и мне не терпелось добраться туда поскорее. Но нужно было вновь и вновь спускаться в мрачный лес, где всё наводило ужас. Чтобы не оглядываться по сторонам, я смотрел вперёд. Любой поворот стоил невероятных усилий, ибо мне чудилось, будто за каждой скалой и деревом притаилось что-то, или кто-то, кого я боюсь с самого первого мгновения моей жизни. Так оно и случилось.

– Вы увидели? – не выдержал мастер, перед мысленным взором которого возникал образ новой гравюры. – Каков был вид его?

– Их было двое, – крестоносец вышел из тени. – Я поднял глаза и сначала заметил всадника справа.

– Человека? – спросил Бегайм.

– Нет. То есть, он был в человеческом обличье, если это можно так назвать.

– Всадник? – уточнил Генрих так, словно знал ответ заранее.

– Да, верно. Всадник, облачённый в саван верхом на тощей кляче с верёвочной сбруей. Голова наполовину сгнила, на месте носа – дыра. У него была седая борода, взъерошенные волосы торчали из-под короны увитой шипящими змеями. Вокруг шеи тоже извивалась жирная гадина. Самый вид его вызывал отвращение, но я почувствовал, что опасность таится в предмете, который мертвец держал в правой руке. Всадник всячески старался обратить моё внимание на него, так и норовил сунуть в лицо. Я знал, что если начну разглядывать его, то погибну навеки.

– Что ж это за предмет? – допытывался мастер.

– Песочные часы, – ответил Генрих вместо брата.

– Так и есть, – подтвердил крестоносец. – Верхняя колба была заполнена песком чуть меньше половины. Вдруг песок стал сыпаться быстрее и быстрее. Я с трудом оторвал взгляд от часов, уставился на дорогу и ещё крепче вцепился в поводья, надеясь на коня, который завёл меня в эту проклятую глушь. Труп хотел было преградить мне путь, но конь оттеснил клячу, даже не коснувшись её.

– Однако тут ты ощутил позади себя кого-то ещё! – подхватил Генрих. – Ты обернулся?

– Нет, я очень хотел, но понимал, что погибну как жена Лотова, ежели обернусь.

– И Вы так и не узнали, как выглядел непрошенный попутчик?

– Я его видел, – объявил Генрих с ноткой торжественности в голосе. – Наши тропы то отдалялись, то приближались, порой я видел Конрада сквозь листву, хотел подать ему знак, но почему-то был уверен, что он меня не увидит и не услышит, даже если я закричу во всю глотку. Когда эти двое приблизились к нему, я был рядом.

– Вот как? – крестоносец посмотрел на брата с изумлением.

– Да. Позади тебя был дьявол!

– Как ты понял, что это именно дьявол?

– Он выглядел так, как обычно изображают нечистого: кабанье рыло, костяной гребень на голове и крылья наподобие тех, что бывают у летучей мыши. Но главное – взгляд.

– Взгляд? – Мастер попытался представить взгляд сатаны. – В его глазах Вы увидели ненависть, злобу?

– О нет, это было бы не столь жутко. Ненависть и злобу я вижу в людских взорах чуть ли не каждый день. Тот взгляд не выражал ничего, даже равнодушия: словно бездонная пустота затаилась в берлоге, готовая броситься из темноты. Так смотрят иногда коты.

– Чем же закончилось сновидение? – поинтересовался после некоторой паузы, Пиркгеймер, которого явно интересовала фабула.

– В этот миг я проснулся. На утро, увидав брата, подумал, что он видел тот же сон.

– И вы не обмолвились ни словом?

– Увы, – ответил Генрих. – Мы находим слова для всего на свете, кроме главного. Витиевато говорим о войне и охоте, о любви и пирах, о книгах и путешествиях, даже о предметах божественных. О последних мы беседуем тем более охотно и пространно, чем меньше соприкасаемся с ними в жизни. Однако стоит хоть краем глаза увидеть, что творится за завесой, отделяющей видимый мир от невидимого, как мы теряем все своё красноречие.

– Вы, безусловно, правы. Однако вернемся к Вашему повествованию, храбрый Конрад, – предложил каноник. – Вы сказали, что видели окончание сна в крепости..., как её...

– Гельмет.

– Да, Гельмет. Также Вы утверждаете, что Вам ведомо время собственной кончины, не правда ли?

– Знаю, что наступит она совсем скоро, и что обрету я её в сражении.

– Из чего же Вы заключаете сие?

– Мне приснилось, будто я выехал из чащи на просторное поле возле озера. Поле было усеяно телами убитых воинов, наших и русских. Среди них я увидел и себя. Вернее, мёртвое тело, покрытое окровавленным знаменем Ордена. Я знал, что тело принадлежит мне. Затем я заметил мертвеца на кляче. В верхней половине колбы оставалось совсем мало песка.

– Но это не всё, – оживленно подхватил Генрих. – Край поля терялся в тумане, поднимавшемся от озера. Над мглою высилась увенчанная замком гора.

– Каков же сей замок на вид? – доискивался мастер, охочий до деталей.

– Вокруг обеих башен располагалось множество построек, так что твердыня напоминала скорее крошечный город, чем замок. К четырехугольной баше примыкало большое здание, наподобие городской ратуши. Круглую же башню опоясывали не столь значительные постройки, которые, однако, казались более пригодными для обороны, так как окон в них было мало, и располагались они на изрядной высоте. Чтобы попасть в замок, вожделенную цель всего путешествия, нужно было пересечь лежавшее во мгле поле.

– Что, по-Вашему, означает сия твердыня? – поинтересовался Бегайм. – Рай?

– То должно быть ведомо вам, богословам. Вы умеете всё истолковать в нужном ключе, во всём усмотреть аллегорию. Замок мол – обители небесные, лес – юдоль земная, ну а полуогнившийся труп на кляче, разумеется, – смерть.

– А Вы бы не согласились с подобным толкованием?

– Не знаю, может быть. Во всяком случае, я предчувствовал радостную встречу в замке.

– Не станем, однако, препираться из-за толкований, – вмешался Пиркгеймер. – Время позднее. Моя голова не выдержит ещё одного спора с доблестным рыцарем креста, да и с Вами, умудренный звездочёт. Посему я предпочту победный сон проигранному диспуту.

– Всецело согласен с Вами, любезный Вилибальд, – одобрил мастер. – Тем более, что сегодня мы услышали о вещах весьма необычных, кои не оставляют в голове места иным мыслям. Да и братьям всё же надо побыть наедине. Сие было бы уместно даже, если не принимать во внимание те горестные известия, которые сообщил нам о своём будущем храбрый рыцарь Конрад.

Академики разошлись по спальным покоям, где их ждали взбитые служанкой перины. Братья Шварц остались в зале и проговорили всю ночь. Утром, завидев Конрада и Генриха на улице, мастер удивился светлому выражению их лиц. Близнецы постояли некоторое время молча, затем крепко обнялись. До конца дней своих мастер помнил фигуру крестоносца, стремительно удалявшегося по широкой улице.

Очувтившись за городскими стенами, Конрад испытал необъяснимый прилив восторга: так ликует помилованный узник, так торжествует святой отшельник, выдержавший искушение. Несмотря на бессонную ночь, рыцарь был полон сил. Он окинул взором город, щекотавший небо щетиной своих многочисленных шпилей. На миг Конраду почудилось, будто высившаяся над Нюрнбергом цитадель напоминает замок из вещего сна. Круглая башня Зинвельтурм и четырёхугольная Хайдентурм представлялись осколками грёз, неведомым образом ставшими явью.

«Быть может, цитадель Кайзербург просто перекочевала в мой сон? – подумал он. – Ведь я помню крепость с самого детства. Людям часто снится виденное наяву».

Шварц пришпорил коня.

«Уже семьдесят пять лет минуло с того дня, как бургграфы продали Нюрнбергу свою половину замка», – почему-то вспомнил он.

Дед рассказывал об этом событии как о знамении Страшного Суда. Ни он, ни отец не могли взять в толк, как случилось, что безродные ремесленники и торгаши одолели потомственных дворян. Наступали новые времена, к которым он, Конрад Шварц, не был готов. Он не мог внутренне смириться с тем, что знания и деньги одерживали победу над родовитостью

и отвагой. От этой-то унижительной правды и сбежал он в полудикую Ливонию. Потому и торжествовал так, когда Плеттенберг смирил гордых рижан и их архиепископа.

«Я – жалкий беглец, трус», – признавался он себе.

Генрих не испугался, он сумел приспособиться к городу и даже полюбить его. Для Конрада город по-прежнему оставался сорняком, рассадником торгашества и мелочности.

«Так кто же из нас в таком случае храбрее? – вопрошал себя ливонец. – Что есть храбрость?»

Дорога терялась под сводами леса. Солнечные лучи пронизывали зелёный полумрак словно столпы света соборные витражи. Шёпот листвы и пение птиц, трепетавшее среди колоннады стволов, влекли в бескрайний простор небес.

Шварц вдыхал напоённый тайною воздух. Тайну осязали его руки, тайну улавливал слух его, и глаза видели одну лишь тайну. Тайна, ужасающая и блаженная, прорастала повсюду вокруг и в душе его. И сам он был тайной – вечной и непостижимой, грозной и ранимой.

Третий голос

И скажут в те дни:

– Боги явятся верой людской.

Эта древняя истина настолько потрясёт Александра, что будет изречена им вслух, хотя мысли его и без слов станут ясно запечатлеваться в сознании Начикета. В уравновешенном состоянии он не рискнул бы раздражать наставника, но в тот миг даже не заметит допущенной оплошности. Отвыкший от слов мудрец испытает давно позабытую тревогу, но не подаст вида. В который раз найдёт он успокоение в осознании особой миссии, не позволяющей опуститься до суетных треволнений. Верный долгу наставник сохранит внутреннее равновесие сам и направит духовный взор ученика к точке покоя.

Станет зябко. Начикет закутается в лиловый плащ и погрузится в созерцание. Приятное тепло заструится по телу. Он откроет глаза. Перед ним – тревожная даль. Багровый закат зардеется в свинцовых водах океана. Глубоко внизу у подножья Города пристань наполнится народом. Среди зелёных плащей лишь изредка, словно ягоды земляники в листве, промелькнут красные одежды.

Кроме столпотворения на пристани ничто не выдаст происшедшего. Циклопическая башня будет, как всегда, вздыматься застывшим временем над единственным известным до того рокового утра клочком земли. Террасы останутся по-будничному пустынными, только повитухи по обыкновению вынесут из инкубаторов удавшихся младенцев, да чайки будут, как ни в чем не бывало, сражаться за корм у дождевых бассейнов. В бесчисленных ячейках и переходах башни продолжит роиться жизнь, неизменная и непонятная.

Начикет погладит ладонью лысую макушку, пальцы скользнут по виску, замрут на подбородке – огрубевшая кожа, жёсткая щетина. Вспомнится детство, когда лицо его было девственно-нежным, с ямочками в уголках.

В детстве Начикета будет занимать только бег наперегонки в тоннеле между верхней и средней террасами. Нырнёт в лаз под самыми облаками и побежит, что есть сил вниз по извилистым коридорам. Друг Паисий помчится в параллельном желобе, потом оба с разбегу в бассейн – кто первый. Взрослые будут закрывать глаза на детские шалости, понимая, что такого рода состязания развивают интуицию. Соперника нужно почувствовать, именно в этом залог победы, а вовсе не в быстроте ног. Чересчур увлекавшихся бегунов начнут попугивать. В любимом бассейне Начикета между каменными плитами от ветхости образуется щель. Однажды ему внушат, что если прыгать в бассейн слишком часто, то можно разбедить думного краба, который будто бы устроил себе там гнездо. Несколько раз Начикету и впрямь почудится какой-то краб. «Ещё бы, – подумает он, – у взрослых такое сознание, что могут какую угодно галлюцинацию вызвать». Однако с той поры он не будет более ходить к бассейну в одиночку. Воображение дорисует разветвленную сеть переходов, разбегающихся от жутковатой дыры во все стороны, а в толще камня – столько же крабов, сколько людей в Городе. Часами напролёт будет он фантазировать о потаённом мире, а по ночам рассказывать соседским мальчишкам крабьи страшилки.

Начикет попросается с детством в один из долгих туманных дней, какие случаются поздней осенью. Проходя мимо бассейна, он посмотрит в сторону щели и еле разглядит её, до того невзрачной покажется она вдруг. Так впервые будущий учёный познает непрочность внешних впечатлений.

Впрочем, первое разочарование, погрузившись на дно души, не оставит сколько бы то ни было заметного волнения на её поверхности. Тут же сыщется и достойная замена играм детства. Внутренний голос позовёт отдаться новому увлечению, причём немедленно и до конца дней.

«На самом деле, совершенно неважно, где человеку быть и во что играть, – подумает Начикет. – Неизменна лишь дружба».

Мысль эта явится ему с достоверностью непреложной истины.

Особо близко сойдётся он со златокудрым Никосом из сословия зелёных плащей. Бесстрашный Паисий, участник детских игр Начикета, также станет его духовным братом, несмотря на принадлежность к красным. Днями напролёт будут гулять приятели по Городу, заходить в мастерские, смотреть, как художники кропотливо воспроизводят Образ, шататься по пристани, разглядывая новые корабли.

В одну из таких прогулок Паисий, заглушаемый грохотом рушащихся волн, поведает сокровенную тайну своего клана.

Начикету легче будет вспомнить солёный привкус океанского ветра в тот штормовой день, нежели подробности рассказа, хотя ему предстоит ещё не раз обращать свои мысли к услышанному тогда. Начикет не осознает в тот день важности сказанного ему, не дерзнёт даже предположить, что очертания неведомого континента, которые возникнут в его воображении благодаря рассказу Паисия, однажды станут явью.

На следующее утро все трое отправятся к наставнику. Омар, лишь недавно принявший посвящение, проявит недюжинный талант в деле духовного попечительства. Со всезнающей благосклонностью выслушает он просьбу ребят об увековечении их дружбы по древнему обычаю. Учитель торжественно объявит вступление их в Пору Верности, после чего вплетёт каждому в волосы по золотой нити в знак принесённого ими обета. Конечно же, наивные юноши не поймут, что кроется за снисходительно-улыбчивым взглядом, которым Омар, тогда уже взрослый человек, проводит их, щеголяющих золотом в причёсках. Подростком он тоже самозабвенно вплетал золотые нити в свою вороную гриву, счастливый и уверенный в вечной преданности избранным товарищам.

В грядущем мире, юношам, принесшим обет дружеской верности, позволят прогуливать занятия и работы до тех пор, пока они будут держаться вместе. Традиция определит, что молодёжь должна насытиться общением, прежде чем сможет достойно приступить к исполнению сословного долга. Появится Предание, гласящее: «Пора Верности – сев, Пора Плодоношения – жатва». Золотые нити в волосах возымеют для взрослых вовсе не тот смысл, который придаст им молодёжь. Умудрённые годами разочарований и компромиссов, старшие попридержат правду от неокрепших душ. «Человек до всего должен дойти сам», – этому тоже будет учить Предание.

«Не торопи», – возгласит заповедь древних.

Первым отколется Паисий. Почти каждое утро он будет уноситься со своей маленькой эскадрой за горизонт. На дружеское общение времени у него почти не останется. Паисий станет являться на встречи только в том случае, если не удастся выйти в море: из-за погоды, потому ли что команда не соберётся, или ещё по какой причине. Но и в эти редкие свидания он будет с друзьями лишь телом, мысль же его унесётся туда, где свистит ветер, грохочут волны, где храбрые люди в красных плащах укрощают строптивые корабли. Настанет день, и они двинутся в страну заката к неведомому континенту.

Всё, что будет живого в Начикете, содрогнётся от боли. Небывалые вещи станут происходить с ним: ни с того, ни с сего глаза вдруг наполнятся слезами, отчаяние обхватит грудь

раскалённым обручем, начнёт одолевать бессонница, он станет забывчив, рассеян. На бритой макушке отрастёт щетина, плащ порвётся в нескольких местах, глаза покраснеют. Начикет начнёт сторониться мест, связанных с Паисием, точно морок отгонять от себя воспоминания. Как смертельно больной зверь, взыщет он уединения среди прибрежных развалин, будет сбегать вниз по лестницам, чудаковато выбрасывая вперед длинные ноги, подолгу стоять на утёсах, отдаваясь ветру.

Смерть друга далась бы Начикету легче, чем разрыв с ним. Умри Паисий телесно, светлый образ души его остался бы в воспоминаниях, но после случившегося печать измены останется на всём, что с ним связано. Начикету то и дело будет сниться, как Паисий уходит от него по волнам навстречу огромному солнцу. Зарево, обогрив океан, охватывает землю, и она, повинаясь урагану, вскипает, бурлит и увлекает всё сухопутное в мятежную пучину.

Ранним утром Начикет отправится к океану: чудовище будет дремать, стальная чешуя подрагивать в предрассветных сумерках. Мерное дыхание океана, обвившего драконьим телом крошечный континент, раздует на горизонте пламя. Оправившись от первой боли, Начикет станет доискиваться подлинных причин своей агонии, ибо голос в недрах души его подскажет, что не обида и не утрата близкого человека гложет его, но нечто совершенно иное, неумолимое, от чего он старался спрятаться, прикрываясь мнимой обидой. Перед этим новым чувством всякое земное терзание покажется сущей безделицей, желанным предметом привычной обстановки. Наивность, с какой Паисий променяет дружбу на мечту, не допустит осуждения. В предательстве его будет столько естественности, что Начикету ничего не останется, как приписать происшедшую в друге перемену началам сверхличным – закону, которому Паисий должен повиноваться в силу своей природы. Начикет не сможет усомниться в искренности Паисия. Скорее, он усомнится в постоянстве самого чувства. Безграничная честность предателя, очевидность его поступков убьёт самый идеал дружбы. С этого времени жизнь более не будет казаться Начикету твёрдой скалой, на которой люди – связанные священными обетами – воплощают высокие устремления духа. Океан времени пожрёт скалу, оставив зыбкий песок суеты там, где должен висеть вечный город правды. Начикету станет страшно. Останется Никос, но преданность златокудрого художника перестанет олицетворять Неизменное. После утраты Паисия дружба с Никосом станет делом частным, одной из возможностей, капризом.

Паисий нарушит клятву верности не только ради мореплавания. Однажды Начикет заметит его на верхнем ярусе Города. Нетрудно будет догадаться, что делает юноша-Герой в обители Посвящённых, да ещё в такой день, когда океан призывно поигрывает пенными барашками. Из покоев Омара он выйдет без золотых нитей в причёске, благоухая священным османтусовым маслом.

«Сладок аромат суетного счастья», – подумает Начикет, буравя Паисия отяжелевшим взглядом. Тот не обернётся. Лиловая туча нахмурится над гаванью. Проваливаясь сквозь тоннели, Начикет пойдёт за изменником, желая видеть ту, ради которой Паисий нарушит дружескую клятву.

Они выйдут у Звёздной Гавани. Высокая девушка в красном плаще появится на вершине утёса, тающего в водах прилива. Увидев возлюбленного, она встанет, поднимет руки навстречу невидимым галактикам. Заходящее солнце на миг обнажит её силуэт. Лёгкий челн подхватит обоих и, распустив пурпурное крыло, унесёт в тёплую ночь. Начикет поглядит им вслед, глаза его вновь наполнятся слезами. Воспарит луна, сквозь бархат ночи проклюнутся первые звёзды, серебристые камни засверкают в тёмных водах. Земля, пограв один бок на солнце, бесшумно перевернётся на своём космическом ложе, забрезжит восход, океан зашумит. Начикет останется неподвижно сидеть на камнях.

И тут явится она.

Обнажённая выйдет из утренней волны. На её теле будут трепетать жемчужные капли. Без тени смущения сядет она рядом и пристально посмотрит на него. Сердце Начикета сожмётся, восход потечёт матовым теплом по жилам. Впервые за много дней он почувствует жизнь. Незнакомка улыбнётся, накинёт лиловый плащ и, выжимая иссиня-чёрные волосы, направится к Городу. Начикет не шелохнётся. Вскоре разгорающееся солнце высушит её следы на прибрежной гальке.

Хотя Ёко и будет одного с ним сословия, Начикет с трудом вспомнит её. Детьми они даже станут играть вместе, но Начикету будет с ней неинтересно. По своему обыкновению, прыгнув пару раз в бассейн, она удалится на берег океана, и просидит там до вечера одна. Она словно от рождения будет обладать Высшим Знанием. Её радости и печали не поймёт никто, кроме опытных духовных наставников.

Любовь к Ёко исцелит Начикета.

Он столкнётся с Никосом на террасе первого яруса среди бескрайних полей подсолнуха. Глаза их встретятся, Начикет увидит во взгляде друга своё недавнее отражение: из-под опухших век на него посмотрят боль и укор. Он захочет отвести взгляд, но не посмеет. Тогда он постарается нащупать в душе то глубокое и прекрасное, что ещё недавно связывало его с Никосом, но душа его будет заполнена образом Ёко.

Порыв ветра выдувает из волос последнюю золотую нить.

«Пустяк, – подумает он. – Забыл заплести покрепче. Нет. Не бывает ветра без мысли».

Уж кто-кто, а Начикет познает это с младенчества, как и все обладатели лиловых одежд. Никос отвернётся и побредёт прочь. Его зелёный плащ растает среди златоглавых стеблей.

Совесьт начнёт борьбу с любовным томлением, станет то взывать, то убеждать, то срываться на истерику. Любовь окутает, нежно ипряно, как аромат османтуса. Совесьт, наконец, покорится.

Омар будет ждать его. Он окинет юношу всё тем же всеведущим и улыбочивым взглядом. Последует осмотр. Начикет будет признан совершенно здоровым и способным к производству потомства. Правда, туловище немного отстаёт в развитии от головы, но таковым будет отличительный признак почти всех мужчин из сословия Посвящённых. Совершив необходимые обряды, Омар торжественно объявит о вступлении Начикета в Пору Влечения, и возольёт на чело его священное масло.

Но путь к Ёко окажется долгим. Она давно уже будет в том возрасте, когда девушки умащают себя жасмином, но сколько ни лови Начикет её запах, жасминового благоухания он не ощутит, а потому будет не вправе приблизиться к ней.

Паисий давно уже обзаведётся сыновьями, избранница Никоса к той поре отправится в инкубатор, а Начикет будет томиться влечением, страстно и безнадежно.

Жизненный поток встретит непреодолимую преграду. До определённого времени влечения Начикета будут проистекать из открывающихся перед ним возможностей. Он будет играть, потому что есть во что играть. Он будет дружить, потому что есть с кем дружить. Но теперь он полюбит, а предмет его любви окажется недостижимым.

Встреча на берегу океана проникнет в сердце Начикета крошечным семенем, которое пустит в его душе миллионы тончайших корней. Он почувствует в груди нечто чужеродное и прекрасное, растущее в нём, питающееся им словно гумусом. Впервые в жизни познает он зависимость от другого человека. Женщина вселится в него помимо его воли.

Он откажется поверить в то, что чувство подобной глубины и размаха может остаться безответным. Но все попытки его покорить молчаливую деву не увенчаются успехом. Ощущение бессилия перед Ёко и перед собственной страстью заставит работать мысль. Он станет

искать отчаянно и упорно. В какой-то миг его посетит странная догадка: «Вот если бы взять и всё исправить в своём прошлом. Объясниться с Никосом, вымолить у него прощение. Примириться с Паисием. Возможно тогда...»

Начикет почувствует, что выслуживается. На душе станет гадко.

«Но перед кем я выслуживаюсь? – подумает он. – Перед Вселенной? Перед Душой Мира? Глупо. Мировая Душа, как и Мировое Тело, безразличны к человеку. Они могут отозваться на человеческую эмоцию каким-нибудь природным рефлексом, но понять человека они не в силах. Разве только... Разве только есть Некто... Некто Запредельный... Абсолют...»

У Начикета сладостно занует в груди, но предвкушение будет тут же потревожено жгучей волной стыда:

«Выслуживаться перед Ним, если бы Он существовал, угождать ради корысти – сверхчеловеческая гнусность!»

Пусть даже ради столь возвышенной корысти, какой представится ему взаимность любимой женщины...

Размышления прервёт одинокий крик чайки, распластавшейся над подсолнуховым морем. Огромная птица замрёт в схватке со встречным ветром, пронзительный зов её отзовется в глубинах вселенной. Начикет помчится к Звёздной Гавани. Мимо пролетит тропинка, где расстались они с Никосом, просвистят переборки тоннеля, в котором он преследовал своего мнимого предателя, всё быстрее и быстрее понесётся известная ему дотоле жизнь – Пора Игры, Пора, Верности, Пора Влечения... Он будет бежать к Звёздной Гавани... Снова бежать к Неизменному...

На берегу Начикет сбросит лиловые покровы и ринется в тёмное неистовство прилива. Бурая стихия подхватит разгорячённое тело. Ритмичными движениями станет разгребать он путь среди томных вод, преодолевая ужас от разверзшейся под ним глубины.

Поверхность океана застелет облако. Мягкие клубы принесут невесомую фигуру девы в лиловом плаще. Карие глаза её полны отрешения и нежности. Так некогда смотрела на него мать, думая, что, увлечённый игрой, он не обернётся. Но он оборачивался и смущался.

Снова вскрикнет чайка. Пальцы нащупают под водой твердь. Первозданный и цельный приблизится он к Ёко. Лиловая ткань скользнёт на утренний камень, обнажив её совершенное тело – мимолетный символ быстротечной души.

Бархатным цветком раскроется она, волна за волной сообщит ведомое ей от начала: человек – больше чем «я», больше чем «ты». Человек – не персона. Человек – мгновение. Он возникает в тот миг, когда «я» теряет себя в ином «я», и снова исчезает, как только «я» восстанавливает границы. Два человека, слившихся воедино силою любви, суть мимолётное божество.

Пройдёт год. Ёко перенесёт тяжёлые роды и выживет потому лишь, что в ту пору Начикет ещё не утратит надежду на возрождение угасшего к ней чувства. Он будет тешить себя мыслью, будто сумеет распознать в этой приземлённой женщине пенорожденную деву, которая некогда спасла его от бессмыслицы. Он постарается опереться на чувство благодарности к ней, станет старательно подмечать все её добрые черты, но ничего не поможет. Ёко станет ему чужой.

Отторжение вызовет не её внешность – все эти одутловатости, узелки, складочки – но духовная метаморфоза, которую будет символизировать её новый облик. Родив Юлию, она утратит прежнюю устремленность к горнему, весь мир её сосредоточится в белокурой девчушке с малахитовыми глазами. Ёко начнёт отдавать дочери силу, ум, красоту и радоваться совершающейся в них обеих перемене, она покорится собственному закату, перетечёт в Юлию как облако в каплю дождя. Начикет отяготится их обществом. Пробуждению отцовского чувства воспрепятствует досада, которую он станет испытывать при виде матери и ребёнка, нашедших друг в друге разгадку последних тайн бытия. Гневом и отвращением закипит он, ежедневно сталкиваясь с предвечным женским ответом на извечный мужской вопрос: «Зачем?»

Он взыщет совершенства личности, а найдёт элементарность грибницы. Отстранённый от творящегося на его глазах таинства природы, он удалится в недра своего «я». Там, в полном одиночестве, сумеет обрести он свои ипостаси так, как Ёко сможет найти себя только в Юлии.

Любовь к женщине более не потревожит его, ибо чрез все свои страсти и отрешения он всегда будет искать одного – пути к Неизменному. Женское начало окажется препятствием, ловушкой. Вместо пути к Неизменному откроется перед ним дорога к Повторяющемуся, вместо пути к Храму – путь к Капищу. Любовь станет вехой на жизненном пути. Начикет приблизится к Поре Плодоношения.

Паисий и Никос вступят в Пору Плодоношения гораздо раньше. Они будут бодро исполнять свои сословные призвания, пользуясь умениями, которые приобретут в общении с Начикетом. Подросток в лиловом плаще научит будущих мореплавателя и художника простейшим навыкам проекции сознания. Начикету и на ум не придёт, что способность произвольно направлять воздушные массы и водные потоки можно обратить на пользу целому сословию. Пожилыми днями он будет развлекать приятелей, сдувая их игрушечными ураганами или кувыркая водными вихрями в дождевом бассейне.

Паисий, одержимый мечтой об экспедиции, каждое утро станет водить сыновей к океану и учить управлению ветром и течением. Младший, Вильям, особенно преуспеет в обучении. Ко времени вступления в Пору Верности он уже сможет создавать потоки, способные двигать флотилию из двенадцати кораблей.

Начикет станет упрекать себя: он подарил Паисию средство, благодаря которому сословие Героев безмерно усилилось. В том, что произойдёт у пристани в тот день, будет и его вина. Тем удивительнее слушать рассуждения Александра, который восскорбит не об отце и брате, а об утрате людьми веры в Высшее Знание.

Начикет не нарушит обета дружеской верности, не расскажет Омару о предании клана Паисия. Нет, он найдёт способ более изощрённый. Омар, в то время уже в сане Верховного Посвящённого, будет доверять Начикету безмерно, ибо как духовный опекун его с самого детства, изучит каждое движение его души. Необычная просьба Начикета удивит его, но отказа не встретит. Достаточно будет уверения в том, что сословие Посвящённых получит сведения чрезвычайной важности, если примет Александра в свои ряды. От имени Верховного Посвящённого Начикет предложит первенцу Паисия сменить красный плащ на лиловый. Тот согласится с радостью. От Александра Посвящённые и узнают о намеченной экспедиции. Но Паисия и Вильяма будет уже не остановить. В отместку они выведут эскадру раньше намеченного срока, а может просто поспешат покинуть Город, чтобы не видеть родного человека среди лиловых.

По крайней мере, в день возвращения эскадры Начикет сможет считать себя примирённым с другом юности. Если б Александр отправился в экспедицию, он бы наверняка погиб вместе с отцом и братом. А так, Начикет спасёт ему жизнь и сохранит род.

Ёко же он не уберёжет. Да и не сумел бы, как ни старайся. Слишком хрупка она, слишком чутка. Неприятие будет копиться в нём долго, а прорвётся в один миг из-за пустяка. Он увидит её на библиотечной террасе с Юлией на руках. Потные волосы слипнутся на лбу, лиловый плащ замотан вокруг ляжек и стянут узлом на животе. В тот день она будет как-то особенно безобразно шлёпать босыми ногами по камню террасы и сдувать повисшую на носу прядь. Почувствовав на себе его взгляд, Ёко остановится. Затем положит уснувшего ребёнка в каменную нишу возле фонтанчика. Распустит плащ. Уберёт волосы. С каждым движением к ней

станет возвращаться прежняя грация и глубина. Начикет заметит, как исчезают морщинки у неё на лице. Ёко подойдёт к краю террасы, и, всплеснув руками, словно лиловая чайка крыльями, обратит лицо к небу, налившемуся свинцовой тучей. Сверкнёт молния. На миг Начикет лишится зрения. Время встанет. Издалека повеет воспоминанием.

Начикет вдруг увидит вдалеке себя и Ёко – седовласых и умиротворённых. В соседних покоях резвятся внуки. Совсем рядом он увидит себя же на берегу в памятное утро их встречи. Она стоит рядом на коленях и пытается привести в чувство его коченеющие члены. А ещё он ударился виском об угол бассейна в день знакомства с Никосом, так и не вступив в Пору Верности. Он увидит себя больным, гниющим, сломленным, цветущим, безруким бунтарём, одноглазым фантазёром, жалким скрягой, расточительным вождём озверевших масс, живой мумией, поросшей папоротником... Его окружают разные жёны, он изнемогает от одиночества, отрывает чайкам крылья, мастурбирует на женоподобного идола. Он голодает и делится последним. Он дробится и разрастается всё новыми ипостасями. Несметные судьбы множатся и разбегаются в разные стороны от мнимого «я». Он проживает самого себя в каждой ипостаси как в единственно возможной, и всякая из них есть подлинная судьба, творящаяся и творимая им и помимо него. Начикет будет разглядывать себя миллионами глаз, слушать миллионами ушей, и в миг ослепительного прозрения он переживёт так много, как только могут пережить миллионы людей за целую жизнь. Когда зрение вернётся к нему, он даже поймёт, почему непременно забудет всё с наступлением «здесь» и «сейчас», то есть одного из бесконечного множества времён и пространств, в которых существует человек.

Ударит гром. Порыв ветра взметнёт горстку раскалённого пепла. Ёко исчезнет.

И вновь, как при разлуке с Паисием, ощущение собственного бессилия овладеет Начикетом. Бессилие перед неизбежным будет мучить его сильнее скорби и угрызений совести. Он не сможет её спасти, ибо она будет жить любовью, которой у него не останется. Он будет не властен над своим влечением к Ёко, когда оно разгорится, и окажется совершенно бессилён перед угасанием чувства. Чувства нахлынут и уйдут. И снова придут, чтобы уйти, уступив место новым.

Останется дитя. И призвание. Два источника, к которым прибегнет человек будущего в Пору Плодоношения. Начикет, как всегда, опоздает. Паисий с Вильямом давно уже будут бороздить океанские просторы в поисках заветного континента, а Никос воспламенять воображение сына не менее дерзновенным замыслом: выстроить Дом с Образа – в натуральную величину, в похожем месте, каменный. Тайна Образа не поддастся даже лиловым плащам, при том что они будут пытаться раскрыть смысл Образа на протяжении многих поколений, передавая навыки работы и драгоценные крупницы добытого знания от отца к сыну. Никос и Артур, чьим сословным призванием будет лишь копирование Образа, посягнут на привилегию Посвящённых. Это вызов Начикету, всему его роду. Даже метод толкования выберут похожий – сны. Никос обучит Артура искусству сновидения. Каждую ночь они будут погружаться в толщу грёз, чтобы увидеть внутреннее устройство Дома с Образа. С библиотечной террасы Начикет будет смотреть на долину, искусственный холм и стройплощадку. По тому, насколько быстро, или же наоборот медленно, станут расти стены, он сможет определить интенсивность сновидений обоих художников. Колебания его собственных снов совпадут с частотой снов Никоса. Что же до Артура, то он до поры до времени во всём будет следовать за отцом.

Начикет примет вызов. У него наконец-то появится цель – приблизиться к разгадке Образа и Летописи раньше своих новоявленных соперников. Помимо доступа к оригиналам и опыта предков у Начикета будет ещё одно преимущество перед соперниками – мистически одарённый и преданный помощник, каким станет Юлия. Приняв духовное посвящение, Начи-

кет некоторое время будет колебаться между апатией и жадой познания. В наихудшие мгновения его станут одолевать приступы безотчетной тоски: тоски от будущего, тоски по прошлому, тоски по Неизменному.

Он убежит от мира. Ночами будет искать сновидений из ушедшего мира, днём толковать Летопись. Постепенно увлечётся настолько, что Высшее Знание станет главной заботой его жизни. Начикет отдалится от общества. Круг его общения ограничится Юлией и Александром.

Вынужденный заниматься политикой, он возжаждет высшей степени посвящения. Ему будет казаться, что там он непременно обретёт желанное успокоение. Так оно и случится. Поначалу Начикет будет вполне счастлив, однако спустя какое-то время снова затоскует. Но на сей раз он испытает тоску по простым человеческим радостям. Он проявит предписываемое Посвящённым упорство в духовных упражнениях, и внутренний покой его действительно станет прочней. Но покоя будет ему мало. Он захочет счастья.

«Никто не счастлив в нынешнем веке, – подумает Начикет. – Все мы ищем главное и неисповедимое. Найдя одно, непременно теряем другое. Обретаем временное, но теряем вечное. Обретаем вечное, но лишаемся временного».

И как все, вступившие в Пору Мудрости, Начикет, окончательно разочаровавшись в настоящим, возложит всё своё упование на грядущее.

«Когда явятся боги, – провозгласит Высшее Знание, – временное и вечное сольются воедино, и наступит полнота Неизменного».

Но, увы, и Неизбежное не безусловно. Ибо, если люди утратят веру в Высшее Знание, божества не сотворятся.

Внимая Александру в день возвращения экспедиции, он со многим согласится, ибо станет знатоком людей. Его современники в большинстве своём пожертвуют Высшим Знанием ради временных благ. В тот вечер Город будет охвачен бунтом суетного над непреходящим, нервозность распространится от человека к человеку словно по цепочке, начинающейся в толпе у пристани и оканчивающейся на террасе Посвящённых. Звенем, соединившим мудреца с человеческой стихией, станет Александр.

Александр не выдаст ни единой мыслью своей скорби о смерти отца и брата. Все его размышления сосредоточатся на свершившемся перевороте: континент открыт, сословия Героев и Трудящихся торжествуют, будущее неясно.

О гибели Паисия с Вильямом Александр знал давно. Он мысленно общался с ними с самого начала экспедиции и вплоть до гибели флагманского корабля. Но в тот день Александр осознает потерю как никогда ранее, в день, когда остатки разведывательной эскадры вернутся без капитана и кормчего. Смерть родных перестанет быть для Александра сном. Он почувствует пустоту, которая бывает только наяву. Сном останется бездна на дне океана, где будут покоиться дорогие сердцу останки.

Александр, как некогда его учитель, возжаждет действий. Только движим он будет не тоской, а страхом. Его дух, напуганный происходящей переменой, потребует беспрестанной деятельности. Разговор с Начикетом станет её началом. Александр, памятуя о неприятии мудрецом словесного общения, будет ждать мысли. Но вместо этого услышит:

– Мы добиваемся крушения веры в доисторических богов. Мы делали всё для искоренения суеверия. Теперь, когда оно почти изжито и народная вера в вымышленные божества подорвана, мы вдруг встревожились. Не странно ли это?

До чего же удивительно будет слушать собственный голос. Начикет позабудет его звучание. Голос внутренний совсем другой. Александр в силу своих обязанностей чаще будет спускаться на нижние ярусы башни и прибегать к устной речи для общения с Героями и Трудящи-

мися. Мудрец же годами пребудет на верхнем этаже и лишь изредка бросит вниз беглый взгляд. Александр вернётся к привычному способу общения. Начикет заранее будет знать всё, что Александр захочет сообщить ему. Перед мысленным взором поплывут образы: суеверие отступает, и в душах людей низших сословий готовится путь для Высшего Знания. И вот, идеал: границы стёрты, нет ни лиловых плащей, ни красных, ни зелёных, но каждый житель Города суть Посвящённый, Герой, и Трудящийся. Высшее знание объединило людей. Из обновлённого сознания человечества рождаются боги!

Краски похолодеют. Александр, вознеся Начикета к вершинам вожденного будущего, низвергнет его в пучину современности: высшее сословие вынуждено доказывать Героям и Трудящимся своё право на верховенство. Там внизу, толпы Трудящихся славят уцелевших Героев. Из двенадцати кораблей вернулось лишь три, но моряки открыли новые неисследованные просторы, многократно превосходящие груды скал, на которой громоздится Город. Герои доказали своё право на особое место в общине, ведь экспедиция состоит целиком из красных плащей. Те же, в свою очередь, прекрасно понимают, что и корабли, и вообще всё, что было и есть в Городе помимо скал, скудной растительности и кое-каких животных, сделано руками людей третьего сословия. Герои служат Городу отвагой и предприимчивостью, Трудящиеся – мастерством и трудолюбием, а Посвящённые...

Конечно, пока никто не бросил вызов лиловым плащам, перед ними всё ещё благоговееют. Но рано или поздно сомнение в возможности Высшего Знания приведёт к тому, что сословие Посвящённых станет ненужным. Тогда долгожданная мечта о рождении божеств окажется несбыточной. Человечество окончательно пойдёт по ложному пути.

По загустевшей синеве небес рассыплется звёзды, Начикет запрокинет голову и на миг потеряется в бездонной глубине вселенной, но Александр не позволит ему уйти от реальности. Идеи и образы, настроения и эмоции, излучаемые Александром, покажут Начикету иное будущее, где нет высшего сословия, а вместе с ним и смысла существования вообще. Не будет никого, кто бы увидел запредельную цель, кто бы сообщил жизни её непреходящую ценность, люди станут жить поверхностными переживаниями и прикладным познанием. А затем случится неизбежное.

С неумолимой последовательностью Александр будет разворачивать сюжет за сюжетом: Герои и Трудящиеся объявляют, что ограничение половых сношений, рождаемости и потребления не основано на непосредственно доступном знании. Они доказывают, что открытые территории смогут прокормить население в тысячи раз большее, чем горстка обитателей Города, люди дают волю инстинктам и размножаются с невероятной быстротой, страсти овладевают сознанием, которое постепенно теряет способность к непосредственному усвоению энергии из природы. Человечество вынуждено всё больше и больше получать её посредством пищи, огня, теплой одежды, удовлетворение потребностей превращается во всеобщую одержимость, желания вырываются из узды воли и окончательно покоряют сознание. Наконец, нарушается равновесие в Теле Мира, и поруганная природа избавляется от паразитирующего вида.

Начикет не выдержит этих картин и поставит преграду.

«Предать гласности результаты неоконченного исследования?»

Пять поколений в семье Начикета посвятят жизнь расшифровке Летописи. Он подойдёт ближе к разгадке, чем его отец, дед и прадед, но всё же не настолько близко, чтобы обнародовать выполненный перевод. Нужно довести работу до конца, сопоставить полученные сведения и лишь затем обнародовать результаты. А выбросить на всеобщее суждение незавершённый труд, только для того, чтобы дать зримое доказательство обладания Посвящёнными Высшим Знанием – такая поспешность противна принципам Начикета, да и любого обладателя лилового плаща. Нельзя приносить вечное в жертву временному.

«Временному? А если временное угрожает вечному?»

Один из непостижимых парадоксов: боги могут родиться лишь из целостного сознания человечества, в то время как человечество отказывается от самой веры в целостное сознание.

«Итак, возникновение божеств зависит от сиюминутных решений!»

Начикет сделает ещё одну попытку убедить Александра в бессмысленности предлагаемого шага, а тот улыбнётся про себя, ощутив столь знакомое деликатное прикосновение мысли учителя. В его манере передавать идеи будет чувствовался анахорет, много лет проживший в своём внутреннем мире: ни ярких образов, ни логических построений, только плавный поток сознания, мерно несущий ученика к выводам, который тот сделает сам, без какого бы то ни было насилия или даже подсказки. Мысль Начикета осязаема как лёгкий ветерок и вечерняя прохлада. Александр невольно поддастся очарованию душевных струй мудреца и осознает, что для доказательства Высшего Знания вовсе не нужны дополнительные свидетельства, достаточно просто напомнить об уже имеющихся. Ведь Летопись и Образ – не вымысел, не объект веры. Они существуют от начала нового мира, и то, что люди устали от бесплодных попыток их расшифровки, не говорит об отсутствии Высшего Знания, но скорее о неготовности воспринять его во всей целостности и полноте. Летопись и Образ, в некотором смысле, – живые существа, они откроются лишь по мере людского просветления.

У Александра останется последнее средство, которое он употребит в случае, если никакие аргументы не помогут. Начикет увидит, точно с высоты птичьего полёта, концентрические ряды посвящённых, собранных на радение.

«Как! – вскипит Начикет – Первое Сословие готово произнести Великое Заклинание? Неужели такое возможно? Нет, этого не может быть. Кто дерзнёт околдовать Героев и Трудящихся, зная, что равновесие Мировой Души нарушится навсегда? Кто посмеет отнять у простонародья свободу, даже если оно не умеет ей распорядиться? Овладеть сознанием масс? Спасти Мировое Тело, погубив Душу Мира? Неужели лиловые столь напуганы? Неужели всё так далеко зашло? Значит, они и сами сомневаются в Высшем Знании, иначе как можно заботиться о населении, энергии и пропитании, пренебрегая главным условием становления духа – свободой? Лиловые усомнились, они пекутся о Теле более, нежели о Душе...»

– В библиотеке. Через тысячу восемьсот ударов сердца. Я покажу тебе всё, и ты сам рассудишь, стоит ли обнародовать результаты.

Мудрец скроется во тьме. Слова, сказанные Начикетом, напугают Александра. Он физически ощутит надвигающийся хаос.

Они не пойдут в библиотеку сразу, ибо Начикет захочет навестить дочь.

«Тысяча восемьсот ударов сердца. Да, пожалуй, столько ему и понадобится, чтобы проведать Юлию».

Приступы учащаются. Странные вещи станут происходить с наиболее духовными из мудрецов. Болезнь проявится в древнейших и самых уважаемых родах. Клан Начикета будет насчитывать не много поколений, но зато перед ним преклонятся даже те, кто поведёт свою родословную от Катастрофы. Предки Начикета поднимутся из зелёных. Они получают необыкновенный дар знания и разгадают многие тайны Летописи. Окажется, что в мифах простонародья гораздо больше правды, чем предполагают Лиловые.

В Летописи действительно будет сказано о неких приспособлениях, которые перемещались по небу с огромной скоростью и обладали страшной разрушительной силой. До Катастрофы общались на расстоянии словами, тоже при помощи каких-то устройств. Так что предания о войне, в течение нескольких дней приведшей к Катастрофе, могло содержать долю истины.

Это будет прорыв в познании. Все с надеждой обратят взоры на Посвящённых, но тут среди них начнут проявляться странные недуги.

В теле Юлии поселятся две души: одна – её родная, известная с детства, а другая – загадочная, пугающая, непонятно откуда взявшаяся. Когда из сумрака сознания выйдет та вторая, даже внешний облик девушки изменится. Александр станет свидетелем произошедшей в ней перемены, Начикет будет тщательно оберегать дочь от посторонних взглядов.

«Странно, очень странно, – подумает Александр. – Почему болезнь поражает самых одухотворенных? Ведь именно от них должно исходить преображение. И почему в последнее время среди зелёных рождается так много одарённых детей? Не среди Героев, как следовало бы ожидать, а среди зелёных? По своим способностям новое поколение Трудящихся ничуть не уступает высшему сословию, но молодым зелёным недостает духовного опыта. Впрочем, они к нему и не стремятся. Как всё изменилось! Предки Начикета почитали за честь войти в сословие мудрецов, а теперь многие из зелёных вообще отвергают Высшее Знание. Непонятно. А может...? Нет, невозможно. Одухотворение должно прийти от высшего сословия, так учит Предание. И всё же эти юноши из зелёных... Они бросают ремесло отцов и подаются в новое искусство. Что они там находят?»

Александр искренне попытается понять привлекательность реального изображения, но не сможет.

«Ведь уродливо изображать то, что ты и так каждый день видишь, – будет размышлять он. – Когда гильдия живописцев и ваятелей из поколения в поколение оттачивала мастерство передачи Образа – это было возвышенно. Стремилась к идеалу, хоть и не понимали его. А теперь? Трудно найти художника, который мог бы изготовить достойную копию. Самые талантливые покидают гильдию, отвергают традиции».

Александр навсегда запомнит день, когда впервые увидит реконструкцию Дома с Образа.

Потрясение. Артур, сын великого Никоса, будет кричать о бесполезно потраченных годах, о глупом подражательстве, о косности и слепоте традиционалистов. Печальное известие мгновенно облетит Город: на третий день по завершении строительства великий Никос погибнет – поскользнется и упадёт с крыши возведённого им Дома. Тогда-то Александр поймёт, что слова Артура – это не возглас безумца. Будучи художником, он раньше многих почувствует ветер перемен.

– Люди! Оглянитесь вокруг, – возгласит он. – Зачем подражать тому, чего вы не понимаете и чего не поймёте никогда? Вокруг – настоящая жизнь: деревья, горы, Город, океан, вы сами! Так будем же изображать жизнь, давайте перестанем гоняться за пустотой!

Так заговорит самый почитаемый из зодчих, единственный, кому удастся возвести здание, точь-в-точь как на Образе. Александр устрасится неуверенности, крепче прильнёт к традиции.

В тот день ему суждено будет познакомиться с последними открытиями Начикета, второй раз в жизни увидеть Летопись и Образ. Александр отметит одна тысяча семьсот пятидесятый удар сердца. Пора.

Разработка темы

Первое проведение. Первый голос

Эдик берёт трубку, в ней – утробный голос соседа. Не самый тягостный звонок.

– Чё так долго не брал, я уж думал, тебя дома нет.

Эдик смотрит на себя в зеркало. Вид обычный, никакой трагедии во взгляде.

«Врут литераторы, – думает он. – Ничего по глазам не определишь».

– Я спал, – отвечает он трубке. – Вчера лёг поздно.

Сосед ничего не знает. Эдика это устраивает, он старается никого не посвящать в свою личную жизнь. Так легче и ему, и окружающим. Сталкиваясь с чужой бедой, люди вынуждены либо сочувствовать, либо защищаться. Клаас избавил себя от участия в этом изнурительном церемониале, прикидываясь непобедимым обывателем. Никто из соседей не спросил его о жене, наверняка решили, что развёлся.

– Короче, в подвале опять та же х***я, – вещает трубка. – Как они варили, х*р их знает. Опять всё прорвало, на х*й, кипяток х****т, б****ь! У первых этажей паркет подымается.

– Ты перекрыть хочешь, что ли?

– Да конечно перекрыть, ё*-тэ! – сосед только и ждал вопроса, чтобы разразиться привычным монологом.

– Они за***ли, Эдик, я тебе говорю, просто за***ли... Б****, да сколько можно: уже договор заключили, бабла насыпали, всё равно та же х****я! По ходу, когда мы с тобой всё сделали тогда, ох*****но было, а сейчас опять х**во! Какого х*ра эта Зина возникать стала! «Не по закону, б****, нас за жопу возьмут, сейчас строго». Да я говорю, слышь Эдик: «Да х** тебе на рыло, б****... Живи со своим законом и меняй паркет каждый месяц, б****...»

– Ну а чего она сейчас-то говорит?

– Так, б****, она же мне и позвонила, на х**! «Миша, б****, у меня паркет поднимается, б****. Перекройте с Эдиком воду, б****, пока аварийка приедет, на х**, у меня тут полный п***** будет! С меня причитается», б****. Е***** в рот, Эдик, дура, ни х**** не слушает, ни х****! В общем, давай, спускайся налегке, я ключи, всю эту х****, возьму...

– Ладно, давай, сейчас спущусь.

Эдик кладёт трубку, одевается и выходит на лестничную клетку. Обнаруживает, что забыл ключи и возвращается. На глаза попадает книга. Он смутно вспоминает, как сидел вчера голый и пьяный рядом с телефоном и обливал слезами подчёркнутые Кларой строки. Он знает их наизусть.

– Чёрт, страницы покоробились, – досадует он еле слышно, затем бережно кладёт книгу в сумку. Помедлив немного, Клаас вешает сумку на плечо и направляется к лифту. За спиной гулко лязгает замок.

На лестничной клетке пахнет варёным мясом, в квартире напротив ругаются молодожёны. Эдик заходит в лифт, из квартиры доносится визг соседки:

– Я не хочу видеть этого человека в нашем доме, понимаешь, не-хо-чу! Да, он твой друг, но мне он неприятен!

Двери лифта закрываются, ответной реплики Эдик не слышит.

«Как стеклопакет усиливает слышимость! Хорошо, я себе не установил», – думает он.

На стенке лифта подле свежего пятна мочи он замечает надпись: «Артурик лох», чуть ниже знакомое: «Я твою маму е***».

«Когда они успели?» – удивляется Клаас. В лифте полумрак, на лестничной клетке тоже сумрачно.

«Это надо умудриться написать что-то в такой темноте».

Поскрипывая, лифт проваливается в шахту. Эдику чудится, что нисхождение будет длиться сутки или двое... Как на поезде в Москву. Внезапно двери распахиваются а там... Он напрягает фантазию, но ничего не может придумать. Вдруг, как-то само собой приходит: кирпичная стена.

Но вместо того, чтобы спуститься в Аид, лифт останавливается, тусклый свет гаснет. Вырубили электричество. Эдик прикидывает, сколько это может продлиться. Зимой в горах из-за обледенения падают опоры линии электропередач, город может остаться без света и на неделю. Тогда Сочи показывают по центральным телеканалам, антикризисный штаб докладывает обстановку, пропитые голоса в переносных приёмниках сообщают, какой район уже «запитали» а какой «запитают» вот-вот. Азартные тётки ругаются с Электросетями: в соседнем доме свет горит, а у них не горит, хотя «запитали» вроде бы всех. Пропитые голоса благодарят за информацию, обещают разобраться. Электрические власти клянутся, что в следующем году авария не повторится, и так год за годом. Но сейчас лето, значит, в худшем случае, света не будет минут тридцать, от силы – час. Слава богу, ларёшники опытными стали, генераторы понакупили. Значит, мороженное не растает, а пиво не нагреется. По сравнению с зимними приключениями даже час в пропахшем мочой лифте кажется Эдику испытанием средней тяжести. Он думает о Зинином паркете:

«Вряд ли Миша справится один, он вечно вентили путает».

Темнота и зловоние действуют угнетающе, по душе разливается знакомое болотное чувство. Чтобы занять себя, Клаас начинает вспоминать, с какими событиями у него ассоциируется подобное смурное настроение. Да, конечно, с университетом. Лекции по философии. Профессор Осиртовский. Эдик ходил на его пары по нескольку раз к ряду, пропускал профилирующие предметы, потом догонял. Всё началось с Юма, Канта и гносеологии. Осиртовский умел объяснить наглядно, так что после курса его лекций всякий считал себя вправе рассуждать о категорическом императиве. Девушкам он ставил «четыре» автоматом, лишь бы они не посещали его философский ликбез.

– Женщина и философия – две вещи несовместные, – говаривал он студенткам. – Сами посудите, зачем вам философия? Вы же и так всё знаете. Вы родили ребёнка – это факт. Тут нет места спекулятивному мышлению. А вот мужчине нужно ещё сообразить, он отец или нет. Мужчина – вынужденный диалектик, ему без философии никуда.

В США феминистки засудили бы Осиртовского, но Россия – страна свободная, тут главное правило: своевременно и регулярно заверяй в своих верноподданнических чувствах Кого-Надо и говори, что хочешь. Осиртовский заверять умел, навыки он с советской эпохи не утратил, а потому уверенно сидел в кресле зав. кафедрой. Как-то раз Эдик увидел его в баре вместе с заезжим федеральным боярином. Если не требовалось называть конкретных имён, Осиртовский позволял себе довольно бесцеремонно отзываться об этих господах:

«При царе они были русскими империалистами, при красных – советскими интернационалистами, нынче сделались российскими федерастами».

Да, так говаривал зав. кафедрой в присутствии студентов. Но в компании «федерастов» профессор Осиртовский превращался в классического лакея – он служил и прислуживался.

«Бедняга! – наивничал третьекуртник Клаас. – Он ведь на сто голов выше этого быдла. Дожил до седых волос, интеллектуал, каких мало, и так унижаться! Почему он не уедет на Запад? Неужели настолько любит Россию?» Спустя какое-то время Клаас понял, что Осиртовский, как многие, очень многие интеллигенты в этой стране, вовсе не тяготился своим положением. Оно было для него естественным. Он наслаждался свободой, читая книгу или произнося искромётные монологи на лекциях, но недели его свободой в практической жизни, он не будет знать, что с ней делать. Сколько бы не брюзжал он на своих покровителей, на их тупость и хамство, он нуждался в них, как недоношенный плод в пуповине. Они, взяточники и тупицы,

олицетворяли для него родину не в меньшей степени, чем философы Соловьёв, Бердяев или Лосский. Осиртовский годами не вылезал из заграницы, владел пятью иностранными языками, его приглашали работать в престижных вузах, и каждый раз он возвращался в Россию, понося её, обличительно сравнивая с Западом, красочно расписывая отечественный идиотизм.

Запад. Было время в жизни Эдика, когда это слово переливалось всеми красками юношеских грёз. В Берлине пала стена, в СССР рухнули границы и Европа, аппетитная, утопающая в цветах и свободах, обнажила перед ним свои прелести. После первого путешествия Эдик готов был видеть в каждом флаге Евросоюза небесный лоскут с райским венчиком из звёзд – до того понравилось ему там.

Зато вторая поездка в землю обетованную отрезвила его словно запоздалое пробуждение после ночной пирушки. Ничего особенного не произошло. Как и в первый раз, историческая родина встретила своего пасынка холёным стилизованным под пастора Денлингера лицом, вывешенным в окошке германского консульства. Далее пастор Денлингер, на сей раз облачённый в комбинезон таможенника, досмотрел Эдика и его малютку-сына в аэропорту. После чего он же, теперь в полицейской форме, выписал штраф за превышение скорости. В бюро прописки местечка Шписсерсау пастор Денлингер оформил Клаасам временную прописку. В какое бы присутственное место не подался Эдик, он всюду встречал благожелательно-непроницаемый лик пастора Денлингера, растиражированный до бесконечности. Пастор Денлингер заполнял и предлагал заполнить многочисленные формуляры, источая ту атмосферу важности совершаемого действия, которую способен создать лишь достойный счёт в банке и уверенность в завтрашнем дне.

А в магазинах, пекарнях, на заправках, в пивных и в различных мастерских добросовестно и дисциплинировано выполняли свой долг люди, чьи лица, имена и фамилии были знакомы Клаасу с пелёнок, хотя он никогда не встречал их прежде.

Так что помимо технического прогресса и манеры одеваться Эдик усмотрел лишь два серьёзных различия между меннонитским хутором и славным городком Шписсерсау.

Во-первых, лишь немногие обитатели Шписсерсау ходили по воскресеньям в церковь. Их бесконечно добропорядочный образ жизни не предназначался для прославления Господа. О Господе вспоминали по большей части пенсионеры, коих в городке было немало. Остаточное благочестие позволяло им стоически переносить как свою так и чужую порядочность. Молодёжи приходилось тяжелей. Не знакомая с благочестием, она так и норовила впасть в какой-нибудь эксцесс. Впрочем, новое поколение быстро нашло золотую середину между общественной моралью, без которой немислима карьера, и индивидуальными потребностями. Клаас становился свидетелем поистине чудесных преображений. По будням глаз радовался виду юношей и девушек, исправно выполняющих свою работу, а на выходных можно было встретить тех же юношей с теми же девушками, только пьяных как гастролирующие финны в Петербурге. В понедельник утром все они проворно брались за работу и исправно выполняли её вплоть до пятницы включительно. Потом снова наступали выходные и с ними отдых от труда и добропорядочности. Такого в сибирском хуторе не бывало.

Во-вторых, в Сибири не существовало анклав, ругательно именуемого Швайнебург. Эту примечательную слободу населяли соотечественники Клааса. Переселенцы из бывшего Союза наводили на местных лёгкий страх и отвращение. Практически все «настоящие немцы» старались держаться от них подальше. Оно и понятно, в Швайнебурге пили не только по выходным, горланили азиатские песни, к тому же в неположенных местах и в неустановленное время. Швайнебуржцы плохо изъяснялись по-немецки, не знали меры ни в труде, ни в отдыхе, одним словом, Швайнебург представлял собой рассадник варварства, от этого предместья постоянно исходила угроза цивилизации, мультикультурной политкорректности и европейской интеграции.

Клаасу хватило полутора месяцев пребывания в Федеративной республике, чтобы пристроить Хельмута к родственникам и удостовериться в его светлом будущем. Эдик покидал Германию с намерением завершить дела в России и вернуться в качестве «позднего переселенца». Застёгивая ремень безопасности в самолете, он ощущал полную и окончательную утрату родины. Родины больше не было. Ни исконной, ни исторической – никакой. В мире не осталось ни единого пятка, где бы Клаас хотел пустить корни. Он завидовал своим далёким предкам, которые оставляли насиженные гнёзда без сожаления и устремлялись навстречу очередной родине с надеждой. Их надежды сбывались почти всегда и везде – в Пруссии, в России, в Америке – потому что они не ждали от земной родины ничего, кроме клочка земли и права жить своим уставом. Их истинная родина была на небесах. «Наше же жительство – на небесах, – любила цитировать Амалия Вольдемаровна, – откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Небо утрашало Эдика ещё больше чем земля. Своей пустынностью. Необитаемостью. Холодом. Он не ждал оттуда никого.

Привыкший доводить всё до конца, Клаас посчитал совершенно необходимым уяснить свой новый статус. Он обозначил его старорежимным русским словом – «инородец». Или: «летучий голландец» – тоже самое, только поэтичней. В конце концов, Клаас и был голландцем. Этническим.

После второго соприкосновения с Германией Эдик стал лучше понимать, почему Осиртовский не захотел жить на Западе. Однако, он по-прежнему относился к инфантильному патриотизму профессора с некоторой брюзгливостью. Осиртовский ни за что не согласился бы перекрыть Россию под Запад, даже если бы к этому и открылась какая-нибудь возможность. Но и Запад был ему дорог именно таким, каков он есть, со всей своей мещанской мелочностью и декадентскими наростами. Осиртовскому требовалось постоянно пребывать в свойственном русским состоянии мученической любви к России исторической и тосковать при этом по России несбыточной. В отличие от студента-инородца, русский профессор не хотел, да и не мог расстаться с иллюзиями, посредством которых миллионы людей столетиями играют в азартную игру под названием «Отечество». Правда, картишки в этой колоде краплёные, а профессор так и норовил припрятать в рукав туза.

Коньком Осиртовского был спецкурс по русской философии, но Клаасу больше всего запомнились лекции о гносеологических теориях Юма и Канта. Он жадно впитывал всё, что помогло бы ему утвердиться в вере, либо окончательно от неё отказаться. Эдик устал от религиозных страхов и надежд, которые продолжали терзать его в глубине души, несмотря на богорборческие настроения.

– Если упростить всё до крайности, – вещал профессор, плавая по аудитории чёрной лебедью, – то процесс познания можно сравнить с появлением изображения на мониторе компьютера, подключённого к Интернету. Вы загружаете из мировой паутины некоторую картинку. Ну, какое изображение обычно загружает студент на практическом занятии по информатике? Разумеется, фотографию одной из тех серийных девиц, которых описывают неологизмом «сексапильный».

Итак, сидя перед монитором, вы вполне отдаёте себе отчет в том, что красотка – всего лишь иллюзия, возникающая благодаря а) неким импульсам, переданным по телефонному проводу, б) собственно компьютеру и в) определённым программам, которые преобразуют поток данных, записываемых при помощи математических знаков, в изображение на экране. Так вот, Юм в восемнадцатом столетии выяснил, что наше сознание работает на основе «perceptions», то есть восприятий. Всё, что мы с вами видим, слышим, обоняем, осязаем – отнюдь не тождественно реальности. Кант, в свою очередь, доказал, что эти восприятия, или, как он их называл «Erscheinungen» – «явления», складываются в некую картину благодаря формам сознания, иными словами, – определённой программе. Время и пространство по Канту – это опять-таки не реальность, а формы мышления как, впрочем, и причинно-следственные связи, и многое

другое. Ну а уже в двадцатом веке занялись, что называется, «железом», то есть органами чувств и мозгом. Как и следовало ожидать, выяснилось, что один и тот же электрический импульс, пропускаемый через язык, вызывает ощущение кислоты, а когда его же пропускают через глаз – красный или голубой цвет. Положение совершенно безнадежно, поскольку и впечатления, и сознание и мозг суть наше «я». У нас нет ни малейшей возможности выпрыгнуть из своего «я» и посмотреть, а что же на самом деле кроется за образом яблока на столе, особняка среди пальм или даже зав. кафедрой Осиртовского.

Профессор то ходил вдоль парт, нескромно заглядывая в конспекты, то возвращался к доске и чертил корявые схемы. Вконец утомившись, он сел за преподавательский стол.

Настало время вопросов. Клаас поднял руку.

– Можно ли из всего сказанного сделать вывод, что познаваемое – не настоящий мир, а только иллюзия? И, если это так, выходит, мы вообще не можем знать самого главного в жизни?

– Как приятно беседовать со студентом, который точно знает, что в жизни самое главное! – съязвил профессор. – Так что же это, позвольте полюбопытствовать?

– Бог. Существование Бога.

Аудитория неодобрительно загудела.

– Ну, это весьма сомнительный тезис. Думаю, что для большинства Ваших однокурсников, Эдуард, существуют иные жизненные приоритеты, никак не связанные богоискательством.

Я отвечу на Ваш вопрос так: с точки зрения теории познания существование Бога совершенно недоказуемо. И слава Богу! Как писал Жюль Ренар: «Не знаю, существует ли Бог, но для его репутации было бы лучше, если бы он не существовал».

При этих словах Клаасу стало тесно и страшно, точно его живого замуровывали в стену. Мироздание съёживалось до размеров аудитории, которая должна была возместить собой небесную скинию. Во святом святых вместо сапфирового престола громоздился стол из ДСП. Сидящий за ним видом был подобен козлобородому архивариусу. И от стола исходили реплики и взгляды и жесты. И лампа горела над столом. И двадцать четыре юнца склонились над партами. Грянул звонок. Студенты встали и закрылись тетради.

В аудитории остались двое: Клаас, отрешенно рисовавший в тетради какую-то спираль, и Осиртовский, бодро укладывавший в папку бумаги.

– Извините, если задел Вас, Эдуард, – профессор испытующе посмотрел на Клааса. – Я довольно часто сталкиваюсь людьми религиозными. Все они на мои слова реагируют одинаково – бросаются с пеной у рта доказывать бытие Божие. Конечно же, они пытаются убедить не меня, а себя самих. Они сомневаются в Его существовании, оттого и остервенение такое. А Вы, похоже, действительно веруете. Честно говоря, мне Вас немного жаль.

– Я хочу понять, – пробормотал Эдик, не отрывая взгляда от тетради. – Мне нужно почитать те книги, о которых Вы сегодня говорили.

– Пожалуйста, я прямо сейчас составлю для Вас список.

Осиртовский достал блокнот и ручку, написал названия книг, вырвал листок и подал Эдику.

– Спасибо.

– Вы бы могли написать курсовую по гносеологии. Уверен, это будет интересно.

– Я подумаю.

Следующие полугодие Клаас запоем читал Юма, Канта, Юнга, и ещё ворох статей по богословию, психологии, философии. В конце концов, он согласился на предложение Осиртовского написать серию эссе о трансформации собственной религиозности и метафизических представлений. Клаас работал по ночам перед окном, распахнутым в холодное небо. С каждой исписанной страницей он чувствовал обречённость и облегчение, постепенно освобождаясь от бесчисленных скреп, какими прошила его душу религия. Он превращался в странника, сво-

бодного и безродного. Когда Эдик в последний раз занёс руку, чтобы поставить точку, блеснула молния. Раскат грома сотряс дом.

Зажигается свет. Лифт, кряхтя, снова ползёт вниз.

Первое проведение. Второй голос

Хищники и травоядные, застигнутые половодьем, мирно уживаются на островках суши, покуда ищут лишь спасения. Непривычное соседство природных врагов вспомнилось Конраду Шварцу, когда мокрый до нитки от проливного дождя въехал он на постоянный двор, что приютился у эрфуртской дороги. Какого люда тут только не было! У телег резались в кости кабаньего вида ландскнехты, а под навесом амбара жалась к трухлявой стене рябая мужичка с младенцем. Им не досталось места в корчме. Крестьянка кормила дитя грудью, напутствуя начинающуюся жизнь невесёлой песенкой:

Mir und dir ist niemand huld.
Das ist unser beider Schuld.

Ни до тебя, ни до меня никому нет дела.
В этом наша с тобою вина.

Путь в корчму Конраду преградила увесистая хозяйка, которая уже раскрыла рот, чтобы отгрузить гостю порцию тюрингского гостеприимства, но, увидев благородную осанку, предполагавшую туго набитый кошелек, вдруг заиграла всеми складками пороссячьей мордочки и принялась рассыпаться в любезностях.

Шварц переступил порог и очутился в полутёмном помещении изрядных размеров, где пахло пивом и прокисшим тряпьем. За длинными столами собраны были все сословия Империи, за исключением князей и с добавлением мужиков. Созванный непогодой «рейхстаг» хлестал пиво из глиняных кружек, жрал, кому что было по карману, хохотал, бранился и занимался всем тем, что приходит на ум обывателям, вынужденным предаваться праздности.

Конрад двинулся вдоль рядов.

– Потому что раньше благородные господа довольствовались сукном и лисьим мехом, – услышал он прогорклое блеяние, – а сейчас рядятся в бархат да горностаи. А кому, спрашиваю я вас, за всё расплачиваться? Известное дело – мужику!

– Это всё проклятые горожане их научили, – мотал башкой кудлатый сосед. – Каково дочке моего господина показываться на городской площади в бабкином платье, когда купчиха щеголяет в шитом золотом наряде, а в волосах у неё столько же отборных жемчужин, сколько у меня вшей в голове и срамных местах!

– Купцы – это подмастерья мелких бесят, – скривился шелудивого вида малый с воловьим прикусом. – Вот уж кто настоящие подручные дьявола, так это правоведа. Раньше и слухом не слыхивали ни о каком римском праве, каждый жил, как то от сотворения мира заведено: свободный – плати ренту, а за лес и реку не плати, крепостной – отработывай и оброк. А сейчас что? Эти книжники так и норовят свободного в холопа обратить!

– Верно говорят, Страшный Суд не за горами. Не стало ни в ком духа Христова, все продались дьяволу, кто за деньги, кто за привилегии. Только в мужиках правда Божья и осталась. А почему? А потому, что мы на земле сидим и от неё кормимся, как Господь Адаму заповедал.

Неподалёку коротали время несколько монахов. Один, самый старший, с важным видом что-то втолковывал собратьям. Когда Шварц поравнялся с ними, слух его уловил обрывок беседы:

– Старик священник услышал однажды на молитве, как дьявол хрюкал, словно здоровенное стадо свиней.

– Это чтобы молитву расстроить?

– А то как же! Ну а муж тот благочестивый не растерялся и отвечает так: «Государь Дьявол, – говорит, – ты получил по заслугам, ты был некогда прекраснейшим из ангелов, а нынче – свинья». Не успел закончить свой ответ, как хрюканье стихло.

– Чудеса! Отчего же нечистый испугался таких слов?

– Оттого, что он презрения не выносит.

– Значит, все дворяне суть бесы и свиньи, ибо и они презрения выносить не умеют.

Дворяне расположились за соседним столом, и святым мужам не поздоровилось бы, услышь благородные господа такие речи, но они и сами были увлечены разговором:

– И всё же на опасное дело Вы отважились. Рейнских побольше будет, да и князя там не столь могучи, как у нас. У курфюрста кнехтов, как грязи. Случись что, от него и дюжиной пушек не отбиться.

– Мой род древнее Веттинов, почему они должны помыкать мною? Я не собираюсь этого терпеть!

– У Императора дурные советники.

– Да, и он внимает дурным советам! В опасности князя его бросят, а наёмники разбегутся, едва казна опустеет. Это же сущий сброд, мужичьё, в них военное дело тумачами вколачивают. Только в рыцарстве опора Империи, на нашей чести и верности она держится!

Конрад потерял всякую надежду найти собеседников, которые бы не вызвали отвращения глупостью или происхождением, как вдруг заметил в дальнем углу двух постояльцев, отличавшихся от прочих гостей позой и манерами. Судя по виду, один из них был студентом, а другой – заезжим дворянином. Рядом с последним сидел мальчик, лет девяти, с весьма некрасивым лицом. Верхняя губа его едва прикрывала зубы, а нос был столь широк, что если провести две прямые линии от ноздрей к подбородку, они прошли бы через уголки рта. Шварц приблизился, чтобы рассмотреть собеседников, и с удовольствием отметил у всех троих умный взгляд жгучих, словно угли, глаз.

– Врач должен быть призван Богом, иначе он просто ремесленник, такой же, как цирюльник, – говорил тот, что постарше.

– В чём же, по-Вашему, отличие настоящего врача от простого ремесленника? – доискивался студент.

Облик молодого человека отмечен был печалью, которая, вероятно, иссушала его уже много лет подряд. Конрад невольно вспомнил брата.

– Врач должен разбираться не только в строении органов и микстурах, но и в движении небесных тел, а также разуместь связь неба внешнего, кое все мы видим нашими телесными очами, с небом, заключённым внутри человека. Врачу надлежит знать толк в болезнях, и в том, какое действие они оказывают на душу, ибо нет болезней бессмысленных, но у каждой своё место и время. Болезнь нужна человеку, как ржавчина металлу. И лечить недуги тела невозможно, оставляя без внимания душу, а потому владение искусством врачевания лежит в сердце. Ежели сердце неправильное, то и врач неправильный.

– Ах, да разве ж под силу смертным исцелить душу, осквернённую первородным грехом! – возразил студент. – Кто вообще может похвастаться правильным сердцем, когда у всех сынов адамовых оно преисполнено всяческой неправды, гордыни, злобы, блуда, зависти, и прочих неисчислимых мерзостей! Возможно ли отыскать в человеке хоть что-то, с чем мог бы он предстать пред Богом на Страшном Суде? Кто может сказать Христу: погляди, вот мои добрые дела, они не запятнаны пороком, отвори же предо мной врата рая?

Конрад подошёл к светильнику как можно ближе, чтобы его удобнее было рассмотреть:

– Обилие людей в корчме не позволит заподозрить меня в подслушивании, – обратился он к необычной тройке, – ибо тут все слышат всех, однако никто никого не слушает. Речи Ваши возбудили во мне интерес.

Расчёт его оправдался. Собеседникам оказалось достаточно беглого взгляда, чтобы составить о крестоносце благоприятное впечатление.

– Вижу, Вы человек благородный. Охотно приглашаю присоединиться к нашей беседе и скромной трапезе. Думаю, господин бакалавр со мною согласен.

– Конечно же, – студент учтиво склонил голову. – Ненастье приносит не одни только разочарования. Иногда оно сводит вместе людей, которые никогда бы не встретились при иных обстоятельствах.

Шварц расположился в торце стола и сразу же потребовал у содержательницы заведения лучшего пива для себя и своих новых знакомых.

– Судя по Вашемуговору, – заговорил крестоносец со старшим из собеседников, – Вы родом из верхних земель.

– Да, я живу в швейцарском Айнзидельне. Рукой подать до Цюриха. Но родом я из Швабии. А Вы, как я погляжу, из Риги? – с этими словами он выразительно посмотрел на плащ крестоносца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.